

Сомерсет МОЭМ



Театр
и другие романы

Все в одном томе

Сомерсет Моэм
Театр и другие романы

«Издательство АСТ»

1925, 1937, 1938, 1944

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

Моэм С.

Театр и другие романы / С. Моэм — «Издательство АСТ»,
1925,1937,1938,1944 — (Все в одном томе)

ISBN 978-5-17-138480-7

Лучшие романы Сомерсета Моэма – в одном томе. Очень разные, но неизменно яркие и остроумные, полные глубокого психологизма и безукоризненного знания человеческой природы. В них писатель, не ставя диагнозов и не вынося приговоров, пишет о «хронике утраченного времени» и поднимает извечные темы: любовь и предательство, искусство и жизнь, свобода и зависимость, отношения мужчин и женщин, творцов и толпы...

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-17-138480-7

© Моэм С., 1925,1937,1938,1944
© Издательство
АСТ, 1925,1937,1938,1944

Содержание

Узорный покров	6
Предисловие автора	6
1	9
2	11
3	13
4	15
5	16
6	17
7	18
8	20
9	22
10	23
11	25
12	27
13	28
14	29
15	31
16	32
17	33
18	35
19	37
20	38
21	41
22	43
23	45
24	48
25	51
26	54
27	57
28	58
29	59
30	60
31	61
32	63
33	64
34	65
35	66
36	68
37	69
38	71
39	74
40	75
41	76
42	78
43	80
44	82

45	83
46	84
47	86
48	88
49	91
50	93
51	95
52	97
53	98
54	99
55	101
56	103
57	106
58	109
59	111
60	113
61	115
62	116
63	119
64	122
65	123
66	124
67	127
68	128
69	131
70	132
71	133
72	135
73	136
74	138
75	139
76	142
77	143
78	146
79	148
80	150
Пироги и пиво, или	153
Предисловие автора	153
I	156
II	163
III	170
IV	174
Конец ознакомительного фрагмента.	177

Сомерсет Моэм

Театр и другие романы

Узорный покров

Предисловие автора

На замысел этой книги меня натолкнули следующие строки из Данте:

«Deh, quando tu sarai tornato al mondo,
e riposato de la lunga via»,
seguitò'l terzo spirito al secondo,
«recorditi di me che son la Pia:
Siena mi fe'; disfecimi Maremma;
salsi colui che'nnanellata pria
disposando m'avea con la sua gemma».

«Прошу тебя, когда ты возвратишься в мир и отдохнешь от долгих скитаний, – заговорила третья тень, сменяя вторую, – вспомни обо мне, я – Пия. Сиена породила меня, Маремма меня погубила – это знает тот, кто, обручившись со мной, подарил мне кольцо и назвал своею супругой»¹.

Я тогда учился в медицинской школе при больнице Св. Фомы и, оказавшись свободным на шесть недель пасхальных каникул, пустился в путь с небольшим чемоданом, в котором уместилась вся моя одежда, и с двадцатью фунтами стерлингов в кармане. Мне было двадцать лет. Через Геную и Пизу я приехал во Флоренцию. Там, на Виа Лаура, я снял комнату с видом на прелестный купол собора у вдовы с дочерью, которая, поторговавшись сколько следует, согласилась сдать мне эту комнату с пансионом за четыре лиры в день. Боюсь, для вдовы эти условия оказались не очень выгодными: аппетит у меня был зверский, я с легкостью поглощал целые горы макарон. В тосканских горах у вдовы был виноградник, и, сколько помнится, нигде в Италии я больше никогда не пил такого вкусного кьянти. Ее дочь ежедневно давала мне урок итальянского языка. Мне она казалась женщиной едва ли не пожилой, хотя было ей, как я теперь понимаю, лет двадцать шесть, не больше. Она пережила большое горе. Ее жених, офицер, был убит в Абиссинии, и она дала обет безбрачия. Было решено, что по смерти матери (женщины седовласой, но цветущей и жизнерадостной, не собиравшейся покинуть этот мир ни на день раньше, чем повелит Господь) Эрсилия пойдет в монастырь. Такая перспектива ничуть ее не удручала. Она любила пошутить, посмеяться. Обеды и завтраки проходили у нас весело, но к нашим занятиям она относилась серьезно и, когда я бывал непонятлив или невнимателен, стучала меня по рукам черной линейкой. Я бы вознегодовал, что со мной обращаются как с ребенком, однако это напомнило мне об учителях былых времен, о которых я читал, а тогда мне стало смешно.

¹ Последние строки песни пятой «Чистилища» Данте. В переводе Д. Минаева они звучат так: О, если ты вернешься снова в свет И отдохнешь, – так новое виденье Сказало мне, – то вспомни про меня. Сиены дочь, зовуся Пией я. Меня же, совершивши преступленье, Маремма умертвила, и о том Еще донныне помнит, без сомненья. Кто обручен со мною был кольцом, Где были драгоценные камения, Сверкавшие на том кольце кругом.

Дни мои были заполнены до отказа. Каждое утро я для начала переводил несколько страниц из какой-нибудь пьесы Ибсена, чтобы овладеть техникой естественного диалога; затем с томиком Рескина в руках шел осматривать достопримечательности Флоренции. Согласно предписаниям, я восхищался башней Джотто и бронзовой дверью Гильберти. Как полагалось, приходил в восторг от Боттичелли в галерее Уффици и по крайней своей молодости пренебрежительно отворачивался от того, чего мой кумир и наставник не одобрял. После завтрака был урок итальянского, а потом я опять уходил из дому, посещал церкви и мечтал, бродя по берегам Арно. После обеда я пускался на поиски приключений, но был до того невинен или, во всяком случае, робок, что всегда возвращался домой, не потеряв и грана добродетели. Синьора, хоть и дала мне ключ от входной двери, вздыхала с облегчением, когда слышала, как я вхожу и задвигаю засов – она вечно боялась, что я забуду это сделать, – а я принимался за чтение истории гвельфов и гибеллинов с того места, где остановился накануне. Я с горечью сознавал, что не так проводили время в Италии поэты-романтики (хотя едва ли хоть один из них сумел прожить здесь шесть недель за двадцать фунтов стерлингов), и от души наслаждался моей трезвой и деятельной жизнью.

«Ад» Данте я уже прочел раньше (с помощью перевода на английский, но добросовестно отыскивая незнакомые слова в словаре), так что с Эрсилией мы начали с «Чистилища». Когда мы дошли до того места, которое я процитировал выше, она объяснила мне, что Пия была сиенской дворянкой, чей муж, заподозрив ее в неверности, но опасаясь мести ее знатной родни в том случае, если он велит ее убить, увез ее в свой замок в Маремме, в расчете, что тамошние ядовитые испарения с успехом заменят палача; однако она не умирала так долго, что он потерял терпение и приказал выбросить ее из окна. Откуда Эрсилия все это знала – понятия не имею, в моем издании примечание было не столь подробное, но история эта почему-то поразила мое воображение, я мысленно поворачивал ее так и этак в течение многих лет, снова и снова размышлял над ней по два-три дня кряду. Я все повторял про себя строку «Сиена породила меня, Маремма меня погубила». Но это был лишь один из многих сюжетов, теснивших у меня в голове, и я подолгу вообще не вспоминал о нем. Я, разумеется, представлял себе какую-то современную повесть и никак не мог придумать, в какой современной обстановке такие события могли бы произойти, не утратив правдоподобия. Нашел я такую обстановку лишь после того, как совершил долгое путешествие в Китай.

Пожалуй, это единственный из моих романов, который я писал, исходя не столько из характеров, сколько из фабулы. Объяснить, как соотносятся характеры и фабула, нелегко. Нельзя создать персонаж в безвоздушном пространстве: как только начинаешь о нем думать, представляешь его себе в какой-то ситуации, он совершает какие-то поступки; и выходит, что характер и хотя бы основное действие зарождаются в воображении одновременно. Но в данном случае персонажи были подобраны в соответствии с сюжетом; и списаны они были с людей, которых я давно знал – правда, при других обстоятельствах.

С этой книгой у меня не обошлось без неприятностей из тех, что подстерегают каждого писателя. Сначала я дал своим героям фамилию Лейн, довольно распространенную, но оказалось, что какие-то люди с такой фамилией живут в Гонконге. Они предъявили иск издателю журнала, в котором печатался роман, и он был вынужден уплатить 250 фунтов, а я изменил фамилию героев на Фейн. Затем помощник гонконгского губернатора, усмотрев в романе клевету на себя, пригрозил подать в суд. Это меня удивило. Ведь в Англии мы можем показать на сцене премьер-министра, вывести в романе архиепископа Кентерберийского или лорд-канцлера, и эти высокопоставленные лица и бровью не поведут. Мне показалось странным, что человек, временно занимавший столь незначительный пост, мог счесть себя оскорбленным, но, чтобы избежать лишнего шума, я изменил Гонконг на вымышленную колонию Цинянь².

² В более поздних изданиях Гонконг был восстановлен. – *Примеч. авт.*

К тому времени книга была уже отпечатана, но тираж так и не поступил в продажу. Некоторые из рецензентов, успевших получить книгу от издателя, под тем или иным предлогом ее не вернули, и эти экземпляры стали библиографической редкостью. Насколько я знаю, их насчитывается штук шестьдесят, и коллекционеры платят за них большие деньги.

1

*О, не приподнимай покров узорный,
Который люди жизнью называют.*

Она испуганно вскрикнула.

– Что случилось? – спросил он.

Ставни были закрыты, но он и в темноте увидел, что лицо ее исказилось от ужаса.

– Кто-то пробовал отворить дверь.

– Наверно, ама³ или кто-нибудь из слуг.

– Они в это время никогда не приходят. Им известно, что после второго завтрака я всегда отдыхаю.

– Так кто же это мог быть?

– Уолтер, – прошептали ее дрогнувшие губы.

Она указала на его ботинки. Он попытался их надеть, но ее тревога передалась и ему – руки не слушались, к тому же ботинки были тесноваты. С коротким раздраженным вздохом она протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и босиком прошла к туалетному столику. Волосы ее были коротко острижены, и она привела их в порядок еще до того, как он успел зашнуровать второй ботинок. Она сунула ему в руки пиджак.

– Как мне выйти?

– Лучше подожди немного. Я пойду взгляну, свободен ли путь.

– Не мог это быть Уолтер. Он ведь никогда не уходит из лаборатории раньше пяти.

– А кто же?

Они говорили шепотом. Ее трясло. У него мелькнула мысль, что в критическую минуту она способна потерять голову, и неожиданно он обозлился. Если риск был, какого черта она уверяла, что риска нет? Она ахнула и схватила его за руку. Он проследил за ее взглядом. Они стояли лицом к стеклянным дверям, выходящим на веранду. Ставни были закрыты, засовы задвинуты. Белая фарфоровая ручка двери медленно повернулась. А они и не слышали, чтобы кто-нибудь прошел по веранде. Среди полного безмолвия это было очень страшно. Прошла минута – ни звука. Потом так же бесшумно, так же пугающе, словно повинувшись сверхъестественной силе, повернулась белая фарфоровая ручка второй двери. Это было так жутко, что Китти не выдержала, открыла рот, готовая закричать, но он, заметив это, быстро накрыл ей рот ладонью, и крик замер у него между пальцев.

Молчание. Она прислонилась к нему, колени у нее дрожали, он боялся, что она потеряет сознание. Хмурясь, сжав зубы, он подхватил ее и отнес на кровать. Она была блее простыни, и сам он побледнел под загаром. Он стоял, не в силах оторвать взгляд от фарфоровой ручки. Оба молчали. Потом он увидел, что она плачет.

– Ради Бога, перестань, – шепнул он сердито. – Попались так попались. Как-нибудь выкрутимся.

Она стала искать платок, и он подал ей ее сумочку.

– Где твой шлем?

– Оставил внизу.

– О Господи!

– Да ну же, возьми себя в руки. Ручаюсь, что это был не Уолтер. С какой стати ему было приходить домой в это время? Ведь он никогда не приходит среди дня?

– Никогда.

³ Служанка, горничная.

– Ну вот. Голову даю на отсечение, что это была ама.

Она чуть заметно улыбнулась. Его теплый, обволакивающий голос немного успокоил ее, она взяла его руку и ласково пожала. Он дал ей время собраться с силами, потом сказал:

– Ну знаешь, надо на что-то решаться. Может, выйдешь на веранду, оглядишься?

– Мне кажется, если я встану, то сразу упаду.

– Бренди у тебя здесь есть?

Она покачала головой. Он помрачнел, чувствуя, что теряет терпение, не зная, как быть. Вдруг она крепче стиснула его руку.

– А если он там дожидается?

Он заставил себя улыбнуться и отвечал тем же мягким, ласкающим голосом, силу которого так хорошо сознавал:

– Ну, это едва ли. Да не трусь ты, Китти. Не мог это быть твой муж. Если бы он пришел и увидел в прихожей чужой шлем, а поднявшись наверх, обнаружил, что твоя дверь заперта, уж он не стал бы молчать. Конечно же, это был кто-нибудь из слуг. Только китаец мог повернуть ручку так осторожно.

У нее немного отлегло от сердца.

– Не очень-то это приятно, даже если это была ама.

– С ней можно договориться, а в случае чего я ее припугну. Быть правительственным чиновником не так уж сладко, но кое-какие преимущества это дает.

Наверно, он прав. Она встала, повернулась к нему, протянула руки, он обнял ее и поцеловал в губы. Она задохнулась от счастья, как от боли. Она боготворила его. Он отпустил ее, и она пошла к двери. Отодвинула засов, приоткрыла ставень, выглянула. Ни души. Она скользнула на веранду, заглянула в туалетную комнату мужа, потом в свой будуар. Пусто и там и тут. Она вернулась в спальню и поманила его:

– Никого.

– Скорее всего это был обман зрения.

– Не смейся. Я до смерти перепугалась. Пройди в мой будуар и подожди там, я только обуюсь.

2

Он послушался, и через пять минут она тоже пришла в будуар. Он курил папиросу.

– Ну что, получу я теперь бренди с содовой?

– Да, сейчас позвоню.

– Тебе и самой не мешало бы выпить.

Они молча дождались, пока явился бой и, выслушав приказание, вышел из комнаты, а потом она сказала:

– Позвони в лабораторию, спроси, там ли Уолтер. Твоего голоса они не знают.

Он взял трубку, назвал номер. Попросил к телефону доктора Фейна. Положил трубку и сообщил:

– Ушел еще до завтрака. Спроси боя, приходил ли он домой.

– Боюсь. Странно получится, если он приходил, а я его не видела.

Бой принес поднос с напитками, и Таунсенд налил себе стакан. Предложил и ей, но она отказалась.

– Как же быть, если это был Уолтер? – спросила она.

– Может, он посмотрит на это сквозь пальцы?

– Кто, Уолтер?

В ее голосе прозвучало сомнение.

– Мне он всегда казался человеком застенчивым. Есть, знаешь ли, мужчины, которые не выносят сцен. У него хватит ума понять, что устраивать скандал – не в его интересах. Я ни на минуту не допускаю, что это был Уолтер, но, даже если это был он, сдастся мне, что он ничего не предпримет. Просто оставит без внимания.

Она отозвалась не сразу.

– Он в меня сильно влюблен.

– Ну что ж, тем лучше. Ты усыпишь его подозрения.

Он одарил ее той чарующей улыбкой, которую она всегда находила неотразимой. Улыбка была медленная, она возникала в его ясных синих глазах и зримо спускалась к красиво очерченному рту, обнажая ровные мелкие белые зубы. Очень чувственная улыбка, от которой у нее все таяло внутри.

– А мне все равно, – сказала она почти весело. – Дело того стоило.

– Это я виноват.

– Да, зачем ты пришел? Я просто глазам не поверила.

– Не мог удержаться.

– Милый.

Она склонилась к нему, страстно глядя ему в глаза своими темными блестящими глазами, приоткрыв губы, и он обнял ее. С блаженным вздохом она отдалась под защиту этих сильных рук.

– Ты же знаешь, что можешь на меня положиться, – сказал он.

– Мне с тобой так хорошо. Если б знать, что тебе так же хорошо со мной.

– И страхи прошли?

– Я ненавижу Уолтера, – ответила она.

Что сказать на это, он не знал и только поцеловал ее, вдохнув прелесть ее нежной кожи.

А потом взял ее руку и посмотрел на золотые часики-браслет.

– Ты знаешь, что мне теперь пора делать?

– Бежать? – улыбнулась она.

Он кивнул. На мгновение она крепче прильнула к нему, но, почувствовав, что ему не терпится уйти, тут же отстранилась.

- Просто безобразие так запускать работу. Уходи сию же минуту.
Он никогда не мог устоять перед искушением пококетничать.
- Надо же, как ты спешишь от меня избавиться! – парировал он шутливо.
- Ты сам знаешь, я не хочу, чтобы ты уходил.
- Это было сказано тихо, искренне, серьезно. Он усмехнулся, польщенный.
- Не ломай себе голову над нашим таинственным гостем. Я уверен, это была ама. А если возникнут затруднения, не сомневайся, я тебя выручу.
- У тебя в этом смысле богатый опыт?
- Он улыбнулся весело и самодовольно.
- Нет, но смею думать, у меня есть голова на плечах.

3

Она вышла на веранду и видела, как он уходил. Он помахал ей. Она смотрела ему вслед, и сердце ее трепетало. Сорок один год, а фигура легкая и походка пружинистая, как у юноши.

Веранда была в тени, и она еще помедлила там, разнеженная, утомленная любовью. Дом их стоял в Счастливой долине, на склоне холма. Более фешенебельная, но и более дорогая Вершина была им не по средствам. Но ее рассеянный взор почти не воспринимал синеву моря и гавань, заполненную судами. Все ее мысли были о любовнике.

Сегодня они, конечно, допустили страшную глупость, но возможно ли осторожничать, если он ее хочет? Два-три раза он уже заходил к ней после второго завтрака, когда все спасаются по домам от жары, и даже бои не видели, как он входил в дом и выходил на улицу. В Гонконге с этим было очень трудно. Она ненавидела китайскую часть города, всегда нервничала, входя в грязный домишко близ Виктория-роуд, где обычно происходили их свидания. Дом принадлежал торговцу-антиквару, и китайцы, рассевшись в лавке, глазели на нее. Она ненавидела угодливую улыбку на лице старика хозяина, когда он провожал ее в глубину дома и вверх по темной лестнице. Комната, куда он вводил ее, была неопрятная, душная, от большой деревянной кровати, стоявшей у стены, ее бросало в дрожь.

– Неприглядно здесь, правда? – сказала она, когда встретилась там с Чарли в первый раз.

– Было неприглядно, пока ты не вошла, – ответил он.

И конечно же, стоило ему обнять ее, как она обо всем забыла.

О, как ужасно, что она не свободна, что они не свободны!

Его жена ей не нравилась. И сейчас она снова вспомнила Дороти Таунсенд. Даже имя ей досталось неудачное – Дороти. Такое имя старит женщину. Ей лет тридцать восемь, никак не меньше. Но Чарли о ней никогда не говорит. Он, разумеется, не любит ее, она ему до смерти надоела. Но он джентльмен. Китти улыбнулась ласково и насмешливо. Вот дурачок – изменять жене считает возможным, но не позволит себе ни единого осудительного слова по ее адресу. Она была высокого роста, выше Китти, не худая и не толстая, с густой русой шевелюрой. Красотой, вероятно, никогда не блистала, разве что красотой молодости. Черты лица недурны, но ничего особенного, голубые глаза холодные. Кожа неважная, щеки без румянца. И одевается, как... ну, как и следует одеваться жене помощника губернатора в Гонконге. Китти улыбнулась и слегка пожала плечами.

Никто, конечно, не стал бы отрицать, что голос у Дороти Таунсенд приятный. Она прекрасная мать, Чарли вечно об этом толкует, а мать Китти говорит о таких женщинах, что они «из благородного семейства». Но Китти ее не любила. Ей не нравилось, что Дороти держится так непринужденно, ее бесила вежливость, которую та проявляла, когда они бывали приглашены к Таунсендам на чаепитие или на обед, – сразу чувствовалось, что ты ей глубоко безразлична. Наверно, вся беда в том, думала Китти, что ее ничего не интересует, кроме собственных детей. Два ее сына учились в школе в Англии, и был еще младший, шести лет, того она собиралась отвезти в Англию на будущий год. А лицо у нее было как маска. Она улыбалась и приятным, воспитанным тоном говорила то, что от нее ожидали услышать, но при всей сердечности держала людей на расстоянии. Было у нее в городе несколько близких приятельниц, те все как одна восхищались ею. Китти подумалось, не считает ли ее миссис Таунсенд немного вульгарной. Она вспыхнула. А кто она такая, эта Дороти, чтобы задирать нос? Правда, отец ее был губернатором целой колонии, это, конечно, очень почетно – когдаходишь в комнату, все встают, когда проезжаешь в автомобиле, мужчины на улице снимают шляпы, – но стоит колониальному губернатору уйти в отставку, и он – ничто, ноль без палочки. Отец Дороти Таунсенд живет теперь на пенсию в маленьком доме на Эрлс-Корт, в Лондоне. Мать Китти еще подумала бы, стоит ли идти к Дороти в гости, если бы та ее пригласила. Отец Китти, Бернارد

Гарстин, – королевский адвокат, не сегодня завтра будет назначен судьей. И живут они как-никак в Саут-Кенсингтоне.

4

Когда Китти после свадьбы приехала в Гонконг, ей было нелегко примириться с тем, что ее положение в обществе определяется специальностью ее мужа. Да, встретили ее очень радушно, и первые два-три месяца они чуть не каждый вечер бывали в гостях. Когда их пригласили на обед в губернаторский дом, губернатор сам повел ее к столу, как новобрачную; но она быстро смекнула, что как жена правительственного бактериолога котируется невысоко. Это ее рассердило.

– Какое идиотство, – заявила она мужу. – Да таких, как эти люди, мы в Англии в грош не ставили. Моей маме и в голову не пришло бы пригласить их к нам на обед.

– Пусть это тебя не волнует, – ответил он. – Ведь это не имеет значения.

– Конечно, не имеет значения, это только показывает, какие они идиоты, но, когда вспомнишь, какие люди бывали у нас в доме, как-то странно, что здесь на нас смотрят сверху вниз.

Он улыбнулся.

– С точки зрения света, ученый – величина несуществующая.

Теперь-то она это знала – не знала тогда, когда выходила за него замуж.

– Не могу сказать, что меня очень радует, когда меня сажают за столом рядом с агентом пароходной компании, – сказала она и засмеялась, чтобы он не усмотрел в ее словах снобизма.

Может быть, за наигранной легкостью ее тона он почувствовал упрек, потому что робко пожал ее руку.

– Мне очень жаль, Китти, милая, но ты не огорчайся.

– А я и не думаю огорчаться.

5

Нет, не мог это быть Уолтер. Не иначе как кто-нибудь из слуг, а это, в конце концов, не важно. Слуги-китайцы все равно все знают. Но умеют держать язык за зубами.

Сердце ее чуть екнуло, когда она вспомнила, как поворачивалась белая фарфоровая дверная ручка. Нельзя больше так рисковать. Лучше встречаться в лавке у антиквара. Никто ничего не подумает, даже если увидит, как она туда входит, а уж там они в безопасности. Хозяин лавки знает, какой пост занимает Чарли, и не такой он дурак, чтобы вызвать недовольство помощника губернатора. И вообще все не важно, кроме того, что Чарли ее любит.

Она вернулась в свой будуар, бросилась на диван и потянулась за папиросой. Увидела какую-то записку, лежащую на книге, и развернула ее. Записка была наспех написана карандашом.

Милая Китти! Вот книга, которую Вы хотели прочесть.

Я как раз собиралась послать ее Вам, но встретила д-ра Фейна, и он сказал, что сам ее Вам передаст, так как будет проходить мимо дома. Ваша В. Х.

Она позвонила и, когда вошел бой, спросила, кто принес эту книгу и когда.

– Принес хозяин, мисси, после завтрака.

Значит, это был Уолтер. Она тут же позвонила по телефону в канцелярию губернатора и, попросив соединить ее с Чарли, сообщила ему эту новость. Ответ последовал не сразу.

– Что мне делать? – спросила она.

– У меня идет важное совещание. К сожалению, сейчас говорить с вами не могу. Мой совет – никакой паники.

Она положила трубку. Значит, он не один. Экая досада, вечно у него дела.

Она села к столу и, опустив лицо в ладони, попробовала спокойно все обдумать. Конечно, Уолтер мог просто решить, что она заснула, а что заперлась в спальне – что ж тут такого? Постаралась вспомнить, разговаривали ли они с Чарли. Если и разговаривали, то, во всяком случае, негромко. И еще этот шлем. Болван, как он мог оставить его внизу? Впрочем, какой смысл ругать Чарли, это было вполне естественно, да Уолтер, возможно, и не заметил его. Он, вероятно, торопился, забросил книгу и записку по дороге на какое-нибудь деловое свидание. Странно только, что он попробовал все двери – и внутреннюю, и обе с веранды. Если он решил, что она спит, едва ли стал бы ее тревожить. Как она могла так оплошать!

Она встрепенулась и, как всегда при мысли о Чарли, опять ощутила в сердце сладкую боль. Да, дело того стоило. Он сказал, что выручит ее, а в худшем случае – что ж... Пусть Уолтер устраивает скандал. У нее есть Чарли, не все ли ей равно? Может, и лучше, если он узнает. Она никогда не любила Уолтера, а с тех пор, как полюбила Чарли Таунсенда, ласки мужа стали ей в тягость. Не захочет больше с ней жить – и очень хорошо. Доказать-то он ничего не может. Если вздумает приставать к ней с расспросами, она все будет отрицать, а если отрицать станет невозможно – выложит ему все начистоту, и пусть делает что хочет.

6

Через три месяца после свадьбы она уже знала, что ошиблась, но виновата в этом не столько она сама, сколько ее мать.

Портрет матери висел тут же на стене, измученный взгляд Китти задержался на нем. Она сама не знала, зачем повесила его, – большой любви к матери у нее не было. Имелась в доме и фотография отца, та стояла внизу на рояле. Он тогда только что стал королевским адвокатом и по этому случаю был снят в парике и в мантии, но даже это не придало ему внушительности. Он был низенький, сухонький, с усталыми глазами и длинной верхней губой, прикрывающей нижнюю, такую же тонкую. Шутник-фотограф попросил его сделать веселое лицо, но лицо получилось не веселое, а строгое. Именно поэтому миссис Гарстин, просматривая пробные снимки, остановила свой выбор на нем: обычно опущенные уголки губ и грустные глаза придавали ему покорно-скорбное выражение, а в этом снимке она усмотрела нечто глубокомысленное. Сама она снялась в том туалете, в котором представлялась ко двору, когда ее муж был повышен в звании. Она выглядела очень величественно в бархатном платье с длинным шлейфом, ниспадающим эффектными складками, с перьями в волосах и цветами в руке. Держалась она очень прямо. В пятьдесят лет это была худая, плоскогрудая женщина с выдающимися скулами и крупным, благородной формы носом. Волосы у нее были густые, черные, гладко причесанные. Китти всегда подозревала, что она их если не красит, то слегка подцвечивает. Ее большие черные глаза никогда не оставались в покое – это, пожалуй, было в ней самое приметное: разговаривая с ней, люди сжимались при виде этих неумных глаз на бесстрастном, без единой морщинки желтом лице. Они скользили по собеседнику вверх и вниз, перебегали на других гостей и возвращались обратно; чувствовалось, что она вас зондирует, оценивает, в то же время улавливая все, что происходит вокруг, и что слова, которые она произносит, не имеют ничего общего с ее мыслями.

7

Миссис Гарстин была женщина жестокая, властная, честолюбивая, скупая и недалекая. Она была одной из пяти дочерей ливерпульского юриста, и Бернард Гарстин познакомился с ней, когда приезжал в Ливерпуль на выездную сессию суда. Он производил тогда впечатление многообещающего молодого человека, ее отец уверял, что он далеко пойдет. Этого не случилось. Он был старательный, трудолюбивый, способный, но слишком слабовольный, чтобы выдвинуться. Миссис Гарстин презирала его. Однако она пришла к выводу, правда малоутешительному, что сама может добиться успеха только через мужа, и принялась подгонять его по выбранной ею дороге. Она немилосердно пилила его. Она убедилась, что при большом желании можно заставить его сделать и то, что претит его деликатности, – нужно только без отдыха бить в одну точку, и рано или поздно он смирится и уступит. Со своей стороны она поставила себе целью поддерживать знакомство только с нужными людьми. Она льстила адвокатам, которые могли передать ее мужу то или иное дело, и дружила с их женами. Лебезила перед судьями и их благоверными. Обхаживала подающих надежды политических деятелей.

За двадцать пять лет миссис Гарстин ни разу не пригласила в гости человека просто потому, что он ей нравился. Через определенные промежутки времени она давала званые обеды. Но честолюбие в ней вечно боролось со скупостью. Она терпеть не могла тратить деньги. Она уверяла себя, что не хуже других умеет пустить пыль в глаза, а обходится это ей вдвое дешевле. Обеды ее были долгие, обдуманы тщательно, но рассчитаны экономно, и до ее сознания просто не доходило, что люди, когда едят и беседуют, разбираются в том, что пьют. Обернув бутылку шипучего мозельвейна салфеткой, она воображала, что ее гости принимают его за шампанское.

Практика у Бернарда Гарстина была приличная, но не обширная. Многие юристы с меньшим, чем у него, стажем давно его обскакали. Миссис Гарстин заставила его выставить свою кандидатуру в парламент. Расходы по предвыборной кампании взяла на себя партия, но и тут на пути ее честолюбия встала скупость, и она не смогла заставить себя истратить достаточно денег, чтобы заручиться симпатиями избирателей. Бесчисленные пожертвования, которых ждали от Бернарда Гарстина, как от любого кандидата, всякий раз оказывались поменьше, чем следовало. На выборах он не прошел. Миссис Гарстин было бы очень приятно стать женой члена парламента, но неудача не сломила ее. Во время предвыборной кампании она свела знакомство с целым рядом видных общественных деятелей, чем сильно повысила собственный престиж. Она знала, что в палате общин ее муж все равно бы не отличился. Победа на выборах была ей нужна только для того, чтобы он мог рассчитывать на благодарность своей партии, а такая благодарность, конечно, ему обеспечена, если он соберет для нее хоть несколько лишних голосов.

Но он все еще был рядовым адвокатом, а многие, моложе его годами, уже получили шелковую мантию. Ему тоже необходимо было добиться этой чести не только потому, что иначе он не мог надеяться стать судьей, но и просто ради нее: очень уж обидно было, входя в банкетный зал, уступать дорогу женщинам на десять лет ее моложе. Однако тут ее муж оказал упорное сопротивление, от которого она давно успела отвыкнуть. Он боялся, что, став королевским адвокатом, лишится работы. Лучше синица в руках, чем журавль в небе, сказал он ей, на что она возразила, что поговорки – это последнее прибежище людей умственно отсталых. Он дал ей понять, что доход его может сократиться вдвое, зная, что для нее это самый веский аргумент. Она ничего не желала слушать. Назвала его трусом. Не оставляла его в покое, и кончилось тем, что он, как всегда, уступил. Подал прошение, и оно было быстро уважено.

Опасения его оправдались. Карьеры он не сделал, дела вел редко. Но он не жаловался и если упрекал жену, так только в душе. Стал, пожалуй, еще молчаливее, но дома он всегда был неразговорчив, и домашние его не заметили в нем перемены. Дочери всегда видели в нем

только источник дохода; им казалось вполне естественным, что он с ног сбивается, чтобы обеспечить им еду и кров, туалеты, курорты и деньги на булавки. И теперь, когда они уразумели, что по его милости денег стало меньше, их безразличное отношение к нему окрасилось раздраженным презрением. Им и в голову не приходило спросить себя, каково приходится этому незаметному человечку, который рано утром уезжает из дому, а возвращается вечером, когда уже пора переодеваться к обеду. Он был им чужой, но оттого, что это был их отец, они считали само собой разумеющимся, что он должен их любить и лелеять.

8

Но мужество миссис Гарстин поистине достойно было восхищения. В том кругу, в котором она вращалась и который для нее представлял весь мир, она от всех сумела скрыть, как тяжело ей далось крушение ее заветных планов. Старательно рассчитывая каждый шиллинг, она продолжала устраивать званые обеды и по-прежнему, принимая гостей, бывала весела и радушна. Она в совершенстве владела искусством пустой болтовни, которая у них именовалась светской беседой. Она была незаменимой гостьей там, где другим такая болтовня не давалась, у нее всегда находилось о чем поговорить, неловкое молчание она умела сразу прервать каким-нибудь подходящим к случаю замечанием.

Увидеть мужа членом Верховного суда она уже почти не надеялась, но он еще мог рассчитывать на должность судьи в каком-нибудь графстве, а на худой конец – на пост в колониях. Пока же она утешалась тем, что его назначили выездным мировым судьей в каком-то городке в Уэльсе. Но все свои надежды она теперь возложила на дочерей. Удачно выдать их замуж – вот возмещение, которого она ждала за долгие годы бесплодных усилий. Дочерей было две: Китти и Дорис. Дорис всегда была дурнушкой – слишком длинный нос, нескладная фигура; для нее миссис Гарстин не метила высоко – в женихи мог сгодиться любой молодой человек со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей. Это стало ясно, еще когда она была маленькой девочкой, – большие темные глаза, живые и лучистые, выющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего: подбородок был слишком широк и нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, все же великоват. Главный секрет ее красоты – молодость, думала миссис Гарстин и чувствовала, что Китти следует выдать замуж, пока не облетело это раннее цветение. Когда она стала выезжать в свет, она была ослепительна – кожа и румянец как у ребенка, к тому же влажные глаза между длинных ресниц сияют как звезды, взглянешь на них – сердце замирает. А до чего весела, до чего кокетлива! Миссис Гарстин сосредоточила на ней всю любовь, на какую была способна, – любовь жесткую, практичную, расчетливую. Она опять лелеяла честолюбивые мечты – эта ее дочь должна сделать не просто хорошую, а блестящую партию, на меньшее она не согласна.

Китти, которой с детства внушили, что она будет красавицей, догадывалась о честолюбивых замыслах матери. Они совпадали с ее желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстин всеми правдами и неправдами добывала приглашения на балы, где ее дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же не скучная, она очень быстро пленила десятка полтора мужчин. Но подходящих среди них не было, и Китти, хоть и была со всеми одинаково мила и приветлива, ни одному не оказывала предпочтения. По воскресеньям в гостиную в Саут-Кенсингтоне валом валили влюбленные молодые люди, но миссис Гарстин с одобрительной улыбочкой отметила, что Китти и без ее помощи умеет держать их на расстоянии. Китти с ними флиртовала, для забавы сталкивала их лбами, но, когда они делали предложение – а без этого не обходилось, – отказывала им тактично, но решительно.

Так прошел и ее первый, и второй сезон, а идеальный поклонник все не появлялся на горизонте; но Китти была молода, и миссис Гарстин рассудила, что время терпит. Своим знакомым она разясняла, что, по ее мнению, девушки, которые выходят замуж до двадцати одного года, достойны жалости. Однако миновал и третий год, и четвертый. Некоторые из прежних вздыхателей сделали предложение по второму разу, но они все еще были бедны; предложили руку и сердце два-три совсем зеленых юнца, моложе Китти, а затем – некий отставной чиновник гражданской службы в Индии, награжденный орденом Индийской империи, тому было пятьдесят три года. Китти по-прежнему много танцевала, ездила на теннисные турниры и на

крикетные матчи, на скачки в Аскот и на регаты в Хенли; она от души наслаждалась жизнью, но ни один мужчина с удовлетворительным доходом и положением в обществе так и не предложил ей стать его женой. Миссис Гарстин начала нервничать. Она заметила, что Китти стали оказывать внимание мужчины лет сорока и старше, и уже не раз напоминала дочери, что красота ее через год-другой поблекнет и что к каждому сезону подрастают новые дебютантки. В семейном кругу миссис Гарстин не стеснялась в выражениях и однажды без обиняков заявила дочери, что так недолго и остаться на бобах.

Китти только плечами пожала. Она-то считала, что все так же хороша собой, возможно даже еще похорошела, поскольку за четыре года научилась одеваться, а времени впереди достаточно. Если б ей хотелось выйти замуж только для того, чтобы быть замужем, нашлось бы сколько угодно желающих хоть завтра вести ее под венец. А рано или поздно подходящий претендент не может не появиться. Однако миссис Гарстин оценивала обстановку более трезво: негодуя в душе на красивую дочку, упустившую время, она немного снизила свои требования и, вспомнив о существовании мужчин, зарабатывающих на жизнь той или иной профессией (раньше, в гордыне своей, она эту категорию вообще отметала), стала присматривать для Китти какого-нибудь молодого юриста или бизнесмена, способного, на ее взгляд, добиться успеха.

Китти минуло двадцать пять лет, и она все еще не была замужем. Миссис Гарстин совсем извелась, и нередко ее разговоры с дочерью принимали очень неприятный оборот. Она спрашивала, долго ли еще Китти намерена сидеть на шее у отца. Он, мол, и так живет не по средствам, чтобы предоставить ей больше возможностей, а она ими не пользуется. Миссис Гарстин ни разу не подумала, что, может быть, это она сама своей излишней предупредительностью отпугнула не одного сына богатых родителей или наследника титула, которых так беспардонно поощряла. Неудачу Китти она приписывала ее глупости. А тут подошло время вывозить в свет Дорис. У Дорис по-прежнему был длинный нос и нескладная фигура, и танцевала она плохо. И в первый же сезон обручилась с Джефффри Деннисоном. Он был единственным сыном процветающего хирурга, во время войны получившего титул баронета. Джефффри предстояло унаследовать этот титул (конечно, медицинский баронет – это не бог весть что, но титул как-никак есть титул), а также весьма солидное состояние.

Китти с перепугу вышла замуж за Уолтера Фейна.

9

Познакомилась она с ним совсем недавно, особенного внимания ему не уделяла. Она даже не помнила, когда впервые с ним встретилась, он сам уже после их помолвки сказал ей, что это произошло на одном балу, куда его привели какие-то знакомые. В тот вечер она его, можно сказать, вообще не заметила и если танцевала с ним, так только потому, что по доброте сердечной танцевала со всеми, кто ее приглашал. Она и не узнала его, когда дня через два, на другом балу, он подошел и заговорил с ней. А потом заметила, что он бывает во всех домах, куда она ездит, и однажды, смеясь, сказала ему:

– Вы знаете, я с вами танцевала не меньше десяти раз, не мешало бы мне знать, кто вы есть.

Он был явно поражен.

– Как, вы не знаете? Ведь нас познакомили.

– Ой, люди всегда говорят так невнятно. Я бы не удивилась, если б и вы не знали мою фамилию.

Он улыбнулся. Лицо у него было серьезное, даже немного суровое, но улыбка очень славная.

– Конечно, я ее знаю. – Он сделал паузу, потом спросил: – А вы не любопытны?

– Не больше, чем всякая другая женщина.

– И вам даже не пришло в голову кого-нибудь спросить, кто я такой?

Забавно, подумала она, неужели он воображает, что это может ее интересовать? Но она не любила обижать людей и одарила его своей ослепительной улыбкой, а ее глаза, два озера в чаще деревьев, так и лучились добротой.

– Так как же вас зовут?

– Уолтер Фейн.

Ей было непонятно, зачем он ездит на балы. Танцевал он неважно и, видимо, мало с кем был знаком. Мелькнула мысль, что он влюблен в нее, но она только пожала плечами: некоторым девушкам кажется, что в них все влюблены, она всегда считала, что это глупо. Но Уолтер Фейн стал изредка занимать ее мысли. Он вел себя совсем не так, как все те молодые люди, которые за ней ухаживали. Те сразу признавались в любви и выражали желание поцеловать ее, многие и целовали. А Уолтер Фейн никогда не говорил о ней и очень мало о себе. Он вообще был неразговорчив, но это ее не смущало: она всегда находила о чем поболтать, и было приятно, что он смеется ее шуткам; но если он говорил, то говорил неглупо. Наверно, был из робких. Выяснилось, что он живет на Востоке, а в Англию приехал в отпуск.

Однажды в воскресенье он появился у них в гостиной. Собралось человек пятнадцать гостей, он посидел немного, явно стесняясь, потом ушел. Позже мать спросила ее, кто он такой.

– Понятия не имею. Это ты его пригласила?

– Да, я с ним познакомилась у Бэддели. Он сказал, что встречался с тобой на балах. Я сказала, что по воскресеньям всегда рады гостям.

– Фамилия его Фейн. Он служит где-то на Востоке.

– Да, он доктор. Он в тебя влюблен?

– Честное слово, не знаю.

– Пора бы знать, как бывает, когда молодой человек в тебя влюблен.

– Если б и был влюблен, замуж за него я не пошла бы, – небрежно бросила Китти.

Миссис Гарстин промолчала. Молчание было неодобрительное. Китти вспыхнула: она уже знала, что матери дела нет, за кого она выйдет замуж, лишь бы сбыть ее с рук.

10

В течение следующей недели она встретила его на трех балах, и теперь он, поборов, вероятно, свою робость, кое-что рассказал о себе. Да, у него медицинское образование, но он не практикующий врач, а бактериолог (Китти очень смутно представляла себе, что это такое) и служит в Гонконге. Осенью он туда возвращается. О Китае он говорил охотно. Китти давно взяла за правило делать вид, будто ей интересно все, что ей рассказывают, но жизнь в Гонконге и правда показалась ей привлекательной: там, оказывается, были и клубы, и теннис, и скачки, и поло, и гольф.

– А танцуют там много?

– По-моему, да.

И зачем он все это ей рассказывает? Он как будто ищет ее общества, но ни разу ни пожатием руки, ни словом, ни взглядом не дал понять, что она для него нечто большее, чем знакомая девушка, с которой можно потанцевать. В следующее воскресенье он опять к ним пришел. Случайно дома оказался ее отец – шел дождь, играть в гольф было нельзя, – и они с Уолтером Фейном долго беседовали вдвоем. Позже она спросила отца, о чем они разговаривали.

– Он, оказывается, служит в Гонконге. С тамошним главным судьей мы давнишние приятели, вместе учились. Этот молодой человек показался мне на редкость серьезным и умным.

Она знала, что, как правило, отцу бывало до смерти скучно с молодыми людьми, которых он ради нее, а теперь и ради ее сестры столько лет был вынужден занимать разговорами.

– Мои молодые люди не часто тебе нравятся, папа.

Его добрые усталые глаза обратились на нее.

– Ты уж не собираешься ли за него замуж?

– Ни в коем случае.

– Он в тебя влюблен?

– Что-то незаметно.

– Он тебе нравится?

– Да не особенно. Он меня почему-то раздражает.

Он был совсем не в ее вкусе. Небольшого роста, но не коренастый, скорее худощавый; смуглый, безусый, с очень правильными, четкими чертами лица. Глаза почти черные, но небольшие, не слишком живые, взгляд упорный, в общем, странные глаза, не очень приятные. При том, что нос у него прямой, аккуратный, лоб высокий, рот хорошо очерчен, он должен бы быть красив. А его, как ни странно, красивым не назовешь. Когда Китти стала о нем задумываться, ее поразило, какие хорошие у него черты лица, если брать их по отдельности. Выражение у него было чуть язвительное. Узнав его поближе, Китти почувствовала, что ей с ним как-то неловко. В нем не было легкости.

Сезон подходил к концу, они часто виделись, но он оставался все таким же отчужденным и непроницаемым. Он не то чтобы робел перед ней, но держался несвободно и в разговоре по-прежнему избегал личных тем. Китти пришла к выводу, что он нисколько в нее не влюблен. Сейчас он не прочь беседовать с ней, но в ноябре, когда он вернется в Гонконг, он и думать о ней забудет. Не исключено, что в Гонконге у него есть невеста – какая-нибудь сестра милосердия в больнице, дочка священника, работающая, скучная, некрасивая, с большими ногами. Вот такая жена ему и нужна.

А потом состоялась помолвка Дорис с Джефффри Деннисоном. У Дорис в восемнадцать лет вполне приличный жених, а ей уже двадцать пять, и у нее никого, даже на примете. А вдруг она вообще не выйдет замуж? За весь этот год ей сделал предложение только двадцатилетний юнец, еще учится в Оксфорде. Не брать же в мужья мальчика на пять лет моложе себя! В прошлом году она отказала кавалеру ордена Бани, вдовцу с тремя детьми. Пожалуй, зря отка-

зала. Мать теперь поедом ее будет есть, а Дорис... Дорис, которую всегда приносили в жертву, потому что блестящее замужество прочили не ей, а Китти, – Дорис, можно не сомневаться, будет торжествовать победу. У Китти больно сжималось сердце.

11

Но как-то днем, по дороге домой из магазина «Хэрродз», она встретила на Бромптон-роуд Уолтера Фейна. Он остановился, заговорил с ней, спросил как бы мимоходом, не хочет ли она пройти по Гайд-парку. Домой ее не тянуло – в эти дни ее ждало там мало приятного. Они пошли рядом, как всегда переговариваясь о том о сем, и он, между прочим, спросил, где она думает провести лето.

– О, мы всегда забираемся в какую-нибудь глушь. Понимаете, папа страшно устает за зиму, и мы стараемся выбрать самое тихое местечко.

Китти хитрила – она отлично знала, что работы у ее отца не так много, чтобы ему валиться с ног от усталости, да к тому же при выборе летнего пристанища никто не стал бы считаться с его удобствами. Но тихое местечко означало недорогое.

– Не находите ли вы, что эти кресла выглядят соблазнительно? – спросил он вдруг.

Проследив за его взглядом, она увидела два зеленых кресла, стоявших особняком на траве, под деревом.

– Так давайте на них посидим, – сказала она.

Но когда они сели, он словно впал в непонятную задумчивость. Чудак-человек! Впрочем, она продолжала весело болтать и только дивилась мысленно, зачем он пригласил ее пройти по парку. Может, вздумал посвятить ее в тайну своей любви к большеногой медсестре в Гонконге? Внезапно он повернулся к ней, перебив ее на полуслове, так что ей стало ясно, что он не слушал. Лицо его побелело как мел.

– Мне нужно вам сказать одну вещь.

Она бросила на него быстрый взгляд и прочла в его глазах тяжкую тревогу. Голос его прозвучал глухо, не совсем твердо. Но она еще даже не успела подумать о причине его волнения, как он снова заговорил:

– Я хотел просить вас стать моей женой.

– Вот уж не ожидала, – сказала она и от удивления уставилась на него во все глаза.

– Неужели вы не знали, что я вас люблю безумно?

– Вы этого никак не проявили.

– Я очень нелепо устроен. Мне всегда труднее высказать то, что есть, чем то, чего нет.

Сердце у нее забилося чуть сильнее. Ей так часто признавались в любви, но либо весело, либо сентиментально, и она отвечала в тон. Никто еще не делал ей предложения так неожиданно и на таких трагических нотах.

– Вы очень добры... – протянула она с сомнением.

– Я полюбил вас с первого взгляда. Давно хотел признаться, но все не мог себя заставить. Она усмехнулась:

– Дипломат из вас, прямо сказать, неважный.

Она была рада случаю посмеяться – в этот ясный солнечный день в воздухе вдруг повеяло предчувствием беды. Он угрюмо нахмурился.

– Неужели не ясно? Я не хотел терять надежду. Но теперь вы вот-вот уедете, а осенью я должен вернуться в Китай.

– Я никогда и не думала о вас в этом смысле, – сказала она жалобно.

Он молчал, упорно не поднимая глаз. Очень, очень странный человек. Но сейчас, когда он высказался, она ощутила непонятную уверенность в том, что такой любви она еще не встречала. Ощущение это вселяло и легкий страх, и радость. И даже его невозмутимость чем-то ей импонировала.

– Дайте мне время подумать.

Он и тут ничего не сказал. Не шелохнулся. Что же, он намерен держать ее здесь, пока она не надумает? Но это глупо. Она ведь должна все обсудить с матерью. Нужно было встать, как только он заговорил, а она пропустила минуту, думала, он еще что-нибудь скажет, и вот теперь неизвестно почему не решается даже пальцем пошевелить. Она не смотрела на него, но четко представляла себе его внешность. Никогда бы она не поверила, что может выйти за мужчину лишь совсем немного выше ее ростом. Когда сидишь рядом с ним, особенно заметно, какие у него правильные черты лица и какие холодные глаза. Странно это, если вспомнишь, что он изнемогает от любви.

– Я вас не знаю, совсем вас не знаю, – произнесла она нерешительно.

Он посмотрел на нее так, словно и ее вынуждал заглянуть в его глаза. В них была нежность, которой она раньше никогда в них не читала, но была и мольба, как у побитой собаки, и это вызывало легкую досаду.

– При ближайшем знакомстве я, мне кажется, не так плох.

– Вы, наверно, очень робкий, правда?

Да, такого диковинного предложения ей еще никто не делал. Ей и сейчас казалось, что они говорят друг другу все самое неподходящее к случаю. Она нисколько в него не влюблена. И все же что-то мешает ей сразу отказать ему.

– Я такой бестолковый, – отвечал он. – Хочу сказать вам, что люблю вас больше всего на свете, но сказать это так трудно.

И – тоже странно – почему-то эти слова ее растрогали. Нет, он, конечно, не холодный, просто у него такая невыигрышная манера. Сейчас она, как никогда, сочувствовала ему. Дорис в ноябре выходит замуж. Он в это время будет уже на пути в Китай, и она, если они поженятся, будет с ним. Не очень-то приятно стоять с букетом на свадьбе у Дорис! Без этого она предпочла бы обойтись. А потом... Дорис замужем, а она девица! Все знают, что Дорис намного моложе ее, а тут она покажется еще старше, чуть ли не старой девой. Брак для нее не очень блестящий, но все-таки брак, и к тому же она уедет в Китай, и то хлеб. А чего только не наговорит мать, если она ему откажет? Да что там, все девушки, которые стали выезжать в свет одновременно с ней, давно замужем, у многих уже есть дети. Ей до смерти наскучило ходить к ним в гости и умиляться на их младенцев. Уолтер Фейн предлагает ей совсем новую жизнь. Она поглядела на него с безошибочно рассчитанной улыбкой.

– А если б я решила броситься головой в омут, когда бы вы хотели на мне жениться?

У него вырвался короткий счастливый вздох, бледные щеки залила краска.

– Сейчас. Теперь же. Как можно скорее. В свадебное путешествие уедем в Италию. На август и сентябрь.

Значит, не придется проводить лето с родителями в каком-нибудь пасторском домике, снятом за пять гиней в неделю. Перед глазами сверкнуло объявление о помолвке на странице «Морнинг пост» – ввиду того что жених должен вернуться на Восток по месту работы, свадьба состоится теперь же. Свою мать она знает – можно не сомневаться, она и по этому случаю сумеет наделать шума; на какое-то время Дорис, во всяком случае, окажется в тени, а когда будут праздновать свадьбу Дорис, куда более пышную, она, Китти, уже будет далеко.

Она протянула Уолтеру Фейну руку.

– Мне кажется, вы мне очень нравитесь. Только дайте мне время к вам привыкнуть.

– Значит, согласны? – перебил он.

– Похоже, что так.

12

В то время она его почти не знала, да и теперь, хоть они были женаты уже около двух лет, знала немногим лучше. Поначалу она ценила его доброту, ей льстила его страстность, явившаяся для нее полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив, спешил исполнить каждое ее желание. Вечно дарил ей какие-то мелочи. Если ей случалось прихворнуть, никакая сиделка не могла бы лучше за ней ухаживать. Самое скучное ее поручение он воспринимал как милость. И был безукоризненно вежлив. Вставал, когда она входила в комнату, подавал ей руку, чтобы выйти из машины; встретив ее на улице, снимал шляпу, никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар. Обращался с ней не так, как у нее на глазах большинство мужчин обращались со своими женами, а так, будто оба они были гостями в имении у общих друзей. Все это было приятно, но немножко смешно. Ей было бы с ним легче, будь он попроще. И супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность граничила с яростью, истеричность сменялась слезливой чувствительностью.

Ее сбивало с толку, до чего это оказалась эмоциональная натура. Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания. И недостойным казалось, что, когда она лежала в его объятиях, он, так всегда боявшийся сболтнуть глупость, показаться смешным, утолив свою страсть, способен был нелепо сюсюкать. Однажды она жестоко его оскорбила – рассмеялась и сказала, что он болтает несусветную чушь. Она почувствовала, как разом ослабели обнимавшие ее руки, он умолк, а через минуту отодвинулся от нее и ушел к себе в спальню. Ей не хотелось обижать его, и дня через два она сказала:

– Дурачок ты, да говори все, что хочешь, я не против.

Он ответил виноватым смешком. Очень скоро она поняла, что он, несчастный, не умеет отвлечься от себя и это его связывает. Когда на каком-нибудь сборище начинали петь хором, он не мог заставить себя раскрыть рот. Сидел, улыбался, чтобы показать, что ему весело, но улыбка была наигранная, смахивала на язвительную усмешку, и чувствовалось, что, на его взгляд, вся эта веселящаяся публика – дурачье. Он не мог заставить себя участвовать в играх и развлечениях, которые общительная Китти так любила. На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И ее расхолаживало, что он так явно считал все это пустой тратой времени.

Сама она готова была болтать без умолку, смеяться по любому поводу. Его молчаливость сбивала с толку. Выводила из себя его манера оставлять ее беглые замечания без ответа. Правда, ответа они не требовали, но все же какого-то отклика она ждала. Если шел дождь и она говорила: «Льет как из ведра», ей хотелось услышать: «Да, прямо ужас!» А он молчал. Иногда ее подмывало встряхнуть его хорошенько.

– Я сказала: льет как из ведра, – повторила она.

– Я слышал, – отозвался он с ласковой улыбкой.

Значит, он не хотел ее обидеть. Промолчал, потому что нечего было сказать. Но если бы люди говорили, только когда им есть что сказать, улыбнулась про себя Китти, они очень скоро совсем разучились бы общаться.

13

Все горе в том, решила она, что у него нет обаяния. Потому он не пользуется успехом, а что это так – она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно. Зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог – не бог весть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделался шуткой, а в другой раз сказал:

– Скучная это материя, долго объяснять. И оплачивается безобразно низко.

Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней, она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что и раздражало, так именно расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе не желанием что-то утаить от нее, а врожденной скрытностью. Ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды. Он не давал себе отдыха – наверно, тоже не умел. А из игр признавал только теннис и бридж.

И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее, любил больше жизни. Готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывалась только ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, – это всего лишь ширма, скрывающая глубоко упрямую слабость? Наверно, он ужасно умный, думала она, все его, видимо, таким считают; но ей он не казался интересным, разве что очень редко, в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились, да и то если бывал в настроении. Он не то чтобы нагонял на нее тоску, она просто была к нему равнодушна.

14

С женой Чарлза Таунсенда Китти встречалась уже несколько раз, его же увидела впервые, лишь когда прожила в Гонконге месяца три. Она познакомилась с ним на званом обеде у Таунсендов, куда приехала с мужем. Китти заранее приготовилась постоять за себя. Чарлз Таунсенд был помощник губернатора, и она твердо решила не допустить с его стороны того небрежно-покровительственного отношения, которое при всей своей воспитанности проявляла к ней миссис Таунсенд. Принимали гостей в большой, просторной комнате, обставленной – как и все гостиные в Гонконге, где ей уже пришлось побывать, – комфортабельно и уютно.Guests съехались много. Фейны прибыли последними, когда ливрейные слуги-китайцы уже обносили собравшихся коктейлями и маслинами. Миссис Таунсенд, поздоровавшись с ними, заглянула в список приглашенных и сказала Уолтеру, с кем ему предстоит сидеть за столом.

Китти увидела, что к ним направляется высокий, очень красивый мужчина.

– Знакомьтесь, мой муж.

– Мне выпало счастье сидеть рядом с вами, – сказал он.

Она сразу почувствовала себя легко и свободно, настороженность как рукой сняло.

Глаза его улыбались, но она успела заметить в них вспышку удивления. Она прекрасно поняла этот взгляд и еле удержалась от смеха.

– Я ни куска не смогу проглотить, – сказал он. – А жаль, обед будет отличный. Дороти в этом знает толк.

– Так за чем же дело стало?

– Просто грех, что мне не сказали. Кто-нибудь должен был меня предупредить.

– О чем?

– Никто ни словом не обмолвился. Откуда мне было знать, что я увижу писаную красавицу?

– Что я должна на это ответить?

– Ничего. Говорить буду я. И буду повторять это снова и снова.

Китти стало интересно, как же все-таки отозвалась о ней его жена. Он наверняка ее спрашивал. А он, глядя на Китти смеющимися глазами, вдруг вспомнил. «И какая же она?» – спросил он, когда Дороти рассказала ему, что познакомилась с молодой женой доктора Фейна. «Очень миленькая. Разыгрывает светскую даму». – «Она была актрисой?» – «Нет, едва ли. Ее отец врач или юрист, не помню точно. Надо будет, очевидно, пригласить их на обед». – «Успеется».

Сейчас, когда они сидели рядом, он сообщил ей, что знает Уолтера Фейна с тех пор, как приехал в колонию.

– Мы с ним играем в бридж. Он, без всякого сомнения, чемпион здешнего клуба.

По дороге домой она передала его слова Уолтеру.

– Ну, это еще не большая похвала.

– А он сам как играет?

– Неплохо. Даже очень хорошо, когда ему идет карта, а вот если не везет, тут он теряется.

– Он играет так же хорошо, как ты?

– Насчет себя я не строю иллюзий. Я бы сказал так: я очень хороший игрок второй категории. Таунсенд воображает, что принадлежит к первой. Но ошибается.

– Он тебе не нравится?

– Ни да ни нет. Работник он, говорят, толковый и слывет превосходным спортсменом. Он меня не особенно интересует.

Уже не в первый раз половинчатые суждения Уолтера выводили ее из себя. К чему такая осторожность? Либо человек тебе нравится, либо нет. Ей Чарлз Таунсенд очень понравился.

При том, что она этого не ожидала. Наверно, он самая популярная фигура в колонии. Губернатор скоро должен уйти в отставку, и все надеются, что Таунсенд займет его место. Он играет в теннис, в поло, в гольф. Держит скаковых лошадей. Всегда готов всем помочь. Презирает волокиту. Нисколько не важничает. Китти понять не могла, почему до сих пор все эти похвальные отзывы вызывали у нее протест, почему она решила, что он задается. Глупости, вот уж в чем его не обвинишь.

Тот вечер прошел чудесно. Они болтали о лондонских театрах, о скачках и регате, все было так знакомо, точно встреча их произошла в доме у каких-нибудь друзей на Леннокс-Гарденз; а позже, когда мужчины тоже перешли в гостиную, он не спеша пересек комнату и опять подсел к ней. Ничего такого уж очень остроумного он не говорил, но несколько раз рассмешил ее. Наверно, все дело в том, как люди говорят. В его низком, бархатном голосе таилась ласка, в добрых синих глазах была неизъяснимая прелесть, от этого с ним было так легко. Да, ему не откажешь в обаянии, а ведь это самое главное.

Росту в нем шесть футов два дюйма, не меньше, вспоминала она, и сложен прекрасно; видимо, он в отменной форме: одни мускулы, ни капли жира. А как одевается, лучше всех, и все сидит на нем так ловко, все ему к лицу. Хорошо, когда мужчина следит за собой. Она перевела взгляд на Уолтера – вот кому не мешало бы немножко подумать о своей внешности. Она отметила и запонки Таунсенда, и пуговицы на жилете – такие она видела в витрине у Картье. Ясно, что у Таунсендов есть доходы и помимо его жалованья. Загорел он страшно, но и сквозь загар проступает здоровый румянец. И симпатичные аккуратные усики не закрывают полных красных губ. Черные волосы коротко острижены, гладко прилизаны. Но лучше всего в нем, конечно, эти глаза под густыми косматыми бровями – такие синие, такие веселые и ласковые, сразу видно, какой он хороший человек.

Она, конечно, сознавала, что произвела на него впечатление. Даже если бы он не наговорил ей комплиментов, его выдали бы эти потеплевшие от восхищения взгляды. И пленяла его полная раскованность, никаких тормозов, никакой оглядки. Китти хорошо разбиралась в таких вещах и оценила, как ловко он умел вернуть в самый, казалось бы, банальный разговор что-нибудь личное, лестное для нее. На прощание он пожал ей руку крепко, со значением, которого она не могла не понять.

– Надеюсь, мы прощаемся ненадолго, – сказал он светским тоном, а остальные досказали его глаза.

– В Гонконге трудно не встретиться, – сказала она.

15

Кто бы мог тогда предсказать, чем это кончится? Позже он говорил ей, что она уже в тот первый вечер свела его с ума. Что такой очаровательной женщины он в жизни не видел. Он помнил, как она была одета: на ней было ее подвенечное платье, и он сказал, что вся она была похожа на ландыш. Она поняла, что он влюблен, до того, как он в этом признался, и, оробев, попробовала держать его на расстоянии. При его пылкости это было нелегко. Она боялась его поцелуев – от одной мысли, что он может ее обнять, у нее колотилось сердце. Впервые в жизни она любила. Это было упоительно. И теперь, узнав, что такое любовь, она вдруг поняла, как ее любит Уолтер. Она стала ласково его поддразнивать и чувствовала, что ему это приятно. До сих пор она его, возможно, побаивалась, теперь же держалась увереннее. Она подтрунивала над ним, и забавно было видеть, как он улыбается в ответ, столько было в этой улыбке удивления и счастья. Смотри-ка, думалось ей, этак он скоро станет совсем нормальным. Теперь, когда она узнала, что такое настоящая страсть, ей нравилось играть на его чувствах – так арфистка легко пробегает пальцами по струнам арфы. Она смеялась, видя, в какое блаженное смущение это его повергает.

И когда Чарли стал ее любовником, она особенно остро ощутила свои отношения с Уолтером как абсурд. Ей трудно было без смеха смотреть на него, такого серьезного, степенного. Сердиться на него она не могла, слишком была счастлива. Ведь как-никак, не будь его, она не встретила бы Чарли. Какое-то время она колебалась, прежде чем преступить последнюю черту, – не потому, что не хотела ответить на страсть Чарли, она и сама стгорала от страсти, а потому, что этому противилось ее воспитание, все условности ее прежней жизни. Впоследствии (а в конце концов все вышло случайно, ни он, ни она этой возможности не предусмотрели) ее изумило открытие, что она несколько не изменилась. Она-то думала, что с ней произойдет какая-то сказочная метаморфоза, что она станет на себя не похожа; и, взглянув наконец в зеркало, даже растерялась, увидев ту самую женщину, что гляделась в него накануне.

– Ты на меня сердишься? – спросил он, и она ответила:

– Я тебя люблю.

– А не кажется ли тебе, что тянуть так долго не стоило?

– Это было просто глупо.

16

От счастья, порой казавшегося нестерпимым, вновь расцвела ее красота. В последний год перед замужеством, когда стала блекнуть первая свежесть, вид у нее бывал усталый, издерганный. Злые языки поговаривали, что она линяет. Но есть огромная разница между двадцатипятилетней девушкой и замужней женщиной того же возраста. Как бутон белой розы, у которого лепестки стали было желтеть по краям, она вдруг распустилась пышным цветом. Глаза-звезды приобрели новую глубину; ослепительной стала кожа (всегда бывшая ее гордостью и предметом неустанных забот): ее нельзя было сравнить ни с персиком, ни с цветком – скорее и персик, и цветок напрашивались на сравнение с этой кожей. Снова она выглядела на восемнадцать лет. Она была обворожительна. Не заметить этого было нельзя, и знакомые дамы, тактично понизив голос, спрашивали ее, не ждет ли она ребенка. Те равнодушные, что раньше утверждали, будто она всего лишь миловидная девушка с длинным носом, теперь признали, что недооценивали ее. Писаная красавица – правильно назвал ее Чарли в тот день, когда впервые ее увидел.

Свою близость они ловко скрывали от посторонних глаз. У него-то плечи широкие, сказал он однажды (и она шутливо его одернула: «Стыдно так кичиться своей фигурой!»), за себя он не боится, но ради нее они не могут позволить себе ни малейшего риска. Часто встречаться наедине им нельзя, об этом он может только мечтать, но для него главное – не подвергать ее опасности: только время от времени в доме антиквара, еще реже – у нее среди дня, когда в доме пусто, – но видались они много, встречались то тут, то там. И ее забавляло, что в этих случаях он разговаривал с ней как добрый знакомый, непринужденно и весело, как со всеми, не изменяя своей обычной светской манере. Услышав их веселую пикировку, никто не подумал бы, что совсем недавно он сжимал ее в объятиях.

Она его боготворила. До чего же он хорош, когда в сапогах и в белых бриджах играет в поло! На теннисном корте его можно принять за юношу. Немудрено, что он гордится своей фигурой, такой фигуры поискать. И правильно, что не хочет располнеть. Он не ест ни хлеба, ни масла, ни картошки, очень много двигается. За руками следит, это тоже хорошо, – каждую неделю делает маникюр. Спортсмен он первоклассный – в прошлом году завоевал первенство по теннису. И уж конечно, танцует лучше всех, с кем ей приходилось танцевать, не танцор, а мечта. Никто не даст ему сорока лет. Она как-то сказала, что просто ему не верит.

– По-моему, ты это выдумал, на самом деле тебе двадцать пять.

Он рассмеялся, очень довольный.

– Дорогая моя, у меня пятнадцатилетний сын. Я типичный мужчина средних лет. Годика через три буду толстый и старый.

– Ты и в сто лет будешь неотразим.

Она любовалась его густыми черными бровями. Не они ли придают его глазам такое тревожащее выражение?

Талантов его не счесть. Он вполне порядочно играет на рояле – ну конечно, только регтаймы – и комические песенки исполняет выразительно и с юмором. Он все, все умеет. И на службе на отличном счету, какая это для нее радость, когда он рассказывает, как губернатор хвалил его, если ему удавалось ловко повернуть какое-нибудь трудное дело.

– Не хочу хвастаться, – говорил он, глядя на нее своими дивными глазами, в которых так и светилась любовь, – но во всей колонии нет человека, который с этим справился бы так здорово.

О, как ей хотелось, чтобы он, а не Уолтер был ее мужем!

17

Еще неизвестно, конечно, знает ли Уолтер правду, и если нет, спокойнее, может быть, оставить все как есть; но если знает, для них для всех это будет лучший выход. Сначала ей было достаточно встречаться с Чарли только украдкой – во всяком случае, она с этим мирилась; но страсть ее росла, и чем дальше, тем сильнее она роптала на преграды, мешавшие им всегда быть вместе. Сколько раз он говорил ей, что проклинает свое служебное положение, и те узы, что его связывают, и те, что связывают ее, и как было бы замечательно, если б они оба были свободны! Она понимала его точку зрения: публичный скандал никому не улыбается, и надо очень и очень подумать, прежде чем ломать свою жизнь; но если свобода придет сама собой, насколько это упростило бы дело!

И никому это не грозит особенными мучениями. О его отношениях с женой ей все известно. Она – холодная женщина, между ними уже давно нет любви. Связывает их привычка, удобство, ну и, конечно, дети. Ей-то труднее, чем ему: Уолтер ее любит. Но, в конце концов, он поглощен своей работой; и у мужчины всегда есть такое прибежище, как клуб; сначала ему будет тяжело, но это пройдет, и ничто не мешает ему жениться вторично. Чарли говорил ей, что просто отказывается понять, как она так мало ценила себя, что вышла за Уолтера.

Даже смешно – почему всего несколько часов назад она пришла в такой ужас от мысли, что Уолтер поймал их на месте преступления. Было, правда, жутко, когда ручка двери медленно повернулась. Но ведь они знают, на что способен Уолтер даже в худшем случае, и готовы к этому. Чарли, как и она, вздохнет с облегчением, когда их вынудят к тому, чего оба они хотят больше всего на свете.

Уолтер порядочный человек, этого нельзя не признать, и он ее любит; он сделает все, что нужно, чтобы она могла подать на развод. Они совершили ошибку, и очень хорошо, что они это поняли, пока не поздно. Она уже придумала все, что скажет ему и как будет с ним держаться – ласково, с улыбкой, но твердо. Им вовсе незачем ссориться. Она всегда будет рада его видеть. И ей очень хочется, чтобы об их недолгой совместной жизни он сохранил самое лучезарное воспоминание.

«Дороти Таунсенд, надо полагать, будет не прочь развестись с Чарли, – думала она. – Сейчас, когда и младший ее сын уедет в Англию, ей и самой там будет гораздо лучше. В Гонконге ей совершенно нечего делать. Все каникулы мальчики будут проводить с ней. И родители ее живут в Англии».

Все очень просто. Все можно уладить без скандала и без взаимных обид. А потом они с Чарли поженятся. Китти глубоко вздохнула. Они будут очень счастливы. Ради этого стоит претерпеть кое-какие неприятности. В голове у нее, сменяя одна другую, роились мысли о том, как интересно они будут жить, куда съездят, какой у них будет дом, до какого поста дослужится Чарли и как она будет ему помогать. Он будет гордиться ею, а она – она его обожает.

Но за всеми этими радужными мечтами словно таилось предчувствие беды. Как будто в оркестре духовые и струнные выводят пасторальные мелодии, а в басах тихо, но зловеще отбивают такт барабаны. Вот-вот вернется домой Уолтер – при мысли об этом начинает стучать сердце. Странно, почему он только заглянул домой, а потом опять ушел, не сказав ей ни слова. Она, конечно, не боится его, твердила себе Китти, ну что он может ей сделать? Но тревога не отпускала. Она еще раз вспомнила все, что решила ему сказать. К чему устраивать сцену? Ей очень жаль, видит Бог, она не хотела делать ему больно, но не ее вина, что она его не любит. Нечего притворяться, всегда лучше говорить правду. Она надеется, что он не будет несчастлив, но они совершили ошибку и единственный разумный выход – признать это. Она всегда будет вспоминать его с теплым чувством.

Но не успела она так подумать, как от внезапно налетевшего страха у нее вспотели ладони. А оттого, что ей стало страшно, она рассердилась на него. Если ему угодно устраивать сцену – пожалуйста; но пусть не удивляется, услышав кое-какие горькие истины. Она ему скажет, что никогда ни капельки его не любила и не проходило дня после их свадьбы, когда бы она не пожалела, что вышла за него замуж. Он ей надоел. С ним скучно, скучно, скучно! Он считает себя лучше всех, это же курам на смех; у него нет чувства юмора, ей ненавистно его высокомерие, его холодная сдержанность. Нетрудно быть сдержанным, когда тебя никто и ничто не интересует, кроме тебя самого. Он ей противен. Его поцелуи вызывают гадливость. И с чего он о себе возомнил? Танцует отвратительно, в компании только портит всем настроение, не умеет ни петь, ни играть и в поло не играет, а теннисист самый посредственный. Бридж? Подумаешь, кому это интересно?

Китти взвинтила себя до полного иступления. Пусть только попробует попрекать. Он сам виноват во всем, что случилось. Очень хорошо, что он наконец узнал правду. Она его ненавидит, глаза бы ее на него не глядели. Да, она рада, что между ними все кончено. И пусть оставит ее в покое. Он столько времени изводил ее, пока уговорил стать его женой. Теперь с нее хватит.

– Хватит, – твердила она вслух, дрожа от ярости. – Хватит! Хватит!

У ворот их сада остановился автомобиль. А вот и шаги Уолтера на лестнице.

18

Когда он вошел в комнату, сердце ее бешено колотилось и руки тряслись, хорошо, что она лежала на диване. Она держала открытую книгу, делая вид, будто он застал ее за чтением. Он секунду постоял на пороге, и взгляды их встретились. Сердце у нее упало, холод пробежал по всему телу, она передернулась. Появилось то чувство, о котором говорят – точно кто-то прошел по твоей могиле. Он был бледен как мел, таким она видела его лицо только раз, когда они сидели в Гайд-парке и он просил ее стать его женой. Темные глаза, неподвижные и непроницаемые, казались неестественно большими. Он все знает.

– Ты сегодня рано, – сказала она.

Губы у нее дрожали, едва выговаривая слова. Она боялась, что от страха потеряет сознание.

– Да нет, как обычно.

И голос показался незнакомым. Как будто он нарочно хотел придать своим словам небрежно-вопросительную интонацию. Заметил он, что она дрожит всем телом? Она еще удержалась, чтобы не вскрикнуть. Он опустил глаза.

– Сейчас оденусь.

Он вышел из комнаты. Она была совсем разбита. Несколько минут оставалась неподвижной, наконец с трудом приподнялась, словно еще не оправилась от долгой болезни, и встала с дивана. Боялась, что не удержится на ногах. Хватаясь за столы и стулья, выбралась на веранду и кое-как по стенке дошла до двери в свою спальню. Надела вечернее платье, а когда вернулась в будуар (гостиной они пользовались только для званных вечеров), он стоял у столика и разглядывал иллюстрации в журнале. Она замерла на пороге.

– Пойдем вниз? Обед готов.

– Я заставила тебя ждать?

Ужас как дрожат губы. Когда же он заговорит?

Они сели за стол, и на минуту воцарилось молчание. Потом он что-то сказал, и самая обыденность его слов придала им какой-то зловещий смысл.

– «Эмпресс» сегодня не прибыл, – сказал он, – очевидно, задержался из-за шторма.

– А должен был прибыть сегодня?

– Да.

Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал еще что-то, такое же незначущее, насчет предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный, богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте, до странности неестественно. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека. И взгляд был обращен то в тарелку, то на стол, то на стену, где висела картина. Но от Китти он упорно отводил глаза. Она поняла, что смотреть на нее он не в силах.

– Пойдем наверх? – спросил он, когда обед кончился.

– Как хочешь.

Она встала, он отворил дверь, пропуская ее вперед, не поднимая глаз. В будуаре он опять взял в руки журнал.

– Этот «Скетч» новый? Я, кажется, его не видел.

– Не знаю. Не заметила.

Журнал лежал там уже недели две, она знала, что Уолтер просмотрел его от корки до корки. Он взял его со стола и сел. Она опять прилегла на диван с книгой. Вечерами они, если бывали одни, обычно играли в кункен или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле и, казалось, внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию. А страницы не перево-

рачивал. Китти попыталась читать, но строкиплыли и сливались перед глазами. Разболелась голова.

Когда же он заговорит?

Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает, и, отложив книгу, смотрела в пустоту. Боялась вздохнуть, пошевелиться. Он сидел тихо-тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные, широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. Как хищный зверь перед прыжком, подумалось Китти.

Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. Вот оно!

– Мне еще нужно поработать, – проговорил он все тем же негромким мертвым голосом, не глядя на нее. – Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать.

– Да, я сегодня что-то устала.

– Ну так спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

И он ушел.

19

Наутро она в первую же удобную минуту позвонила Таунсенду на службу.

– Да, что случилось?

– Нам нужно повидаться.

– Дорогая моя, я страшно занят. Я, знаешь ли, рабочий человек.

– Дело очень важное. А можно, я сейчас заеду?

– О нет, ни в коем случае.

– Тогда приезжай сюда.

– Не могу я сейчас отлучиться. Разве что во второй половине дня. И стоит ли мне вообще приходить к вам домой?

– Мне надо сейчас же с тобой повидаться.

Последовала пауза, точно их разъединили.

– Ты здесь? – спросила она испуганно.

– Да, я соображаю. Что-нибудь стряслось?

– По телефону сказать не могу.

Снова пауза, потом его голос:

– Так вот, послушай. Если это тебя устроит, могу встретиться с тобой на десять минут в час дня. Приходи в Гу-джоу, я зайду туда, как только смогу вырваться.

– В лавку? – переспросила она растерянно.

– А ты что, предлагаешь вестибюль отеля «Гонконг»?

Она уловила в его голосе нотку раздражения.

– Хорошо, я буду у Гу-джоу.

20

Она отпустила рикшу на Виктория-роуд и по узкой крутой улочке поднялась к лавке. Задержалась на минуту у витрины, словно разглядывая выставленный товар. Но мальчик, стоявший в дверях в ожидании покупателей, сразу узнал ее и приветствовал широкой заговорщицкой улыбкой. Оглянувшись через плечо, он сказал что-то по-китайски, и из лавки с поклоном вышел хозяин, низенький, круглолицый, в черном халате. Она поспешно вошла в лавку.

– Мистер Таунсенд еще нет. Вы идти навверх, да?

Она прошла через лавку, поднялась по шаткой темной лестнице. Китаец поднялся следом за ней и отпер дверь в спальню. Там было душно, стоял приторный запах опиума. Она села на ларь сандалового дерева.

Очень скоро ступеньки заскрипели под тяжелыми шагами. Вошел Таунсенд и закрыл за собою дверь. При виде ее его хмурое лицо разгладилось. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой, обнял ее и поцеловал в губы.

– Так в чем же дело?

– Как увидела тебя, сразу легче стало, – улыбнулась она в ответ.

Он сел на постель и закурил.

– Что-то ты неважно выглядишь.

– Еще бы, я, кажется, всю ночь глаз не сомкнула.

Он посмотрел на нее. Он все еще улыбался, но улыбка стала чуть натянутой, неестественной. И в глазах как будто мелькнула тревога.

– Он знает, – сказала Китти.

Он чуть запнулся, прежде чем спросить:

– Что он сказал?

– Ничего не сказал.

– Да? – Он бросил на нее беспокойный взгляд. – Почему же ты решила, что он знает?

– По всему. Как он смотрел. Как говорил за обедом.

– Был резок?

– Напротив. Был изысканно вежлив. В первый раз с тех пор, как мы женаты, он не поцеловал меня, когда прощался на ночь.

Она потупилась, неуверенная, понял ли Чарли. Обычно Уолтер обнимал ее и целовал в губы долгим поцелуем, словно не мог оторваться. Все его тело становилось страстным и нежным.

– Как тебе кажется, почему он ничего не сказал?

– Не знаю.

Пауза. Китти сидела не шевелясь на ларе сандалового дерева и смотрела на Таунсенда тревожно и пристально. Лицо его опять стало хмурым, между бровями пролегли морщинки. Уголки рта опустились. Но вдруг он поднял голову и в глазах загорелись лукавые огоньки.

– Очень может быть, что он ничего и не скажет.

Она не ответила, не поняла значения этих слов.

– Между прочим, не он первый предпочтет закрыть глаза на такую ситуацию. Если бы он поднял шум, что бы это ему дало? А если б хотел поднять шум, так заставил бы нас отпереть дверь. – Глаза его заблестели, на губах заиграла веселая улыбка. – И хороши бы мы с тобой тогда были!

– Не видел ты, какое у него было лицо вчера вечером.

– Ну да, он расстроился. Это естественно. Любой мужчина в таком положении сочтет себя опозоренным. И над ним же будут смеяться. Уолтер, мне кажется, не из тех, кто склонен предавать гласности свои личные неурядицы.

– Да, пожалуй, – проговорила она задумчиво. – Он очень щепетилен. Я в этом убедилась.

– А нам это на руку. Знаешь, иногда бывает очень полезно влезть в чужую шкуру и подумать, как бы ты сам поступил на месте этого человека. У того, кто попал в такой переплет, есть только один способ не уронить свое достоинство – притвориться, что ничего не знаешь. Ручаюсь, Уолтер именно так и поступит.

Чем больше Таунсенд говорил, тем жизнерадостнее звучал его голос. Его синие глаза сверкали. Он снова стал самим собой – веселым, благодушным. Он излучал уверенность и бодрость.

– Видит Бог, я не хочу говорить о нем плохо, но, в сущности, бактериолог – не ахти какая персона. Не исключено, что, когда Симмонс уйдет в отставку, я стану губернатором, и не в интересах Уолтера со мной ссориться. Ему, как и всем нам, нужно думать о хлебе насущном: едва ли в министерстве по делам колоний хорошо посмотрят на человека, который стал виновником скандала. Поверь мне, для него самое безопасное – помалкивать и самое опасное – поднимать шум.

Китти беспокойно повела плечами. Она знала, как Уолтер застенчив, готова была поверить, что на него может повлиять страх перед оглаской, перспектива оказаться в центре внимания; но чтобы им руководили материальные соображения – нет, в это не верилось. Возможно, она знает его не так уж хорошо, но Чарли-то его совсем не знает.

– А что он меня безумно любит, об этом ты забыл?

Он не ответил, но в глазах засветилась озорная улыбка, которую она так хорошо знала и любила.

– Что ж ты молчишь? Сейчас скажешь какую-нибудь гадость.

– Да знаешь ли, женщина нередко обольщается мыслью, что мужчина любит ее безумнее, нежели оно есть на самом деле.

Тут она рассмеялась. Его самоуверенность заражала.

– Надо же такое сболтнуть!

– Сдается мне, что в последнее время ты не слишком много думала о своем муже. Может, он тебя любит поменьше, чем прежде.

– Насчет тебя-то я, во всяком случае, не строю себе иллюзий, – отпарировала она.

– А вот это уже зря.

Какой музыкой прозвучали для нее эти слова! Она в это верила, его страсть согревала ей сердце. Он встал с кровати, подошел, сел рядом с ней на ларь, обнял за плечи.

– Сию же минуту перестань терзаться. Говорю тебе, бояться нечего. Руку даю на отсечение, он сделает вид, что ничего не знает. Ведь доказать такие вещи почти невозможно. Ты говоришь, он тебя любит; возможно, он не хочет тебя потерять окончательно. Будь ты моей женой, я и сам, честное слово, согласился бы ради этого на любые условия.

Она прильнула к нему. Безвольно откинулась на его руку, изнывая от любви, как от боли. Последние его слова поразили ее: может быть, Уолтер любит ее до того, что готов принять любое унижение, лишь бы иногда она ему позволяла любить ее. Это она может понять: ведь так она сама любит Чарли. В ней волной поднялась гордость и в то же время – смутное презрение к человеку, способному унизиться в любви до такого рабства.

Она обвила рукой его шею.

– Ты просто чародей. Я, когда шла сюда, дрожала как осиновый лист, а теперь совсем спокойна.

Он взял ее лицо в ладони, поцеловал в губы.

– Родная.

– Ты так умеешь утешить.

– Вот и хорошо, и хватит нервничать. Ты же знаешь, я всегда тебя выручу. Я тебя не подведу.

Страхи улеглись, но на какое-то безрассудное мгновение ей стало обидно, что ее планы на будущее пошли прахом. Теперь, когда опасность миновала, она готова была пожалеть, что Уолтер не будет требовать развода.

– Я знала, что могу на тебя положиться, – сказала она.

– А как же иначе?

– Тебе, наверно, надо пойти позавтракать?

– К черту завтрак. – Он притянул ее ближе, крепко сжал в объятиях.

– Ох, Чарли, отпусти меня.

– Никогда в жизни.

Она тихонько засмеялась, в этом смехе было и счастье любви, и торжество. Его взгляд отяжелел от желания. Он поднял ее на ноги и, не отпуская, крепко прижав к груди, запер дверь.

21

Весь день она думала о том, что Чарли сказал про Уолтера. В тот вечер им предстояло обедать в гостях, и, когда Уолтер вернулся домой, она уже одевалась. Он постучал в дверь.

– Да, войди.

Он не стал входить.

– Сейчас переоденусь. Ты скоро будешь готова?

– Через десять минут.

Он больше ничего не сказал и прошел к себе. Голос его прозвучал так же напряженно, как накануне вечером. Но она теперь чувствовала себя уверенно. Она оделась первая и, когда он спустился вниз, уже сидела в машине.

– Извини, что заставил тебя ждать, – сказал он.

– Ничего, переживу, – отозвалась она и даже сумела улыбнуться.

Пока машина катилась вниз с холма, она раза два заговорила о каких-то пустяках, но он отвечал односложно. Она пожала плечами. Что ж, если хочет дуться, пусть дуется, ей все равно. Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный. Слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен, лицо осунулось.

– Ваш муж плохо выглядит. Я думал, он хорошо переносит жару. Он что, завален работой?

– Он всегда завален работой.

– Вы, наверно, скоро уедете?

– О да, – отвечала она. – Вероятно, съезжу в Японию, как в прошлом году. Доктор говорит, что здешняя жара мне вредна, того и гляди совсем расклеюсь.

Обычно, когда они обедали в гостях, Уолтер время от времени с улыбкой поглядывал на нее, сегодня же он ни разу на нее не взглянул. Она заметила, что он отвел глаза еще тогда, когда сажился в машину, и потом, когда подал ей руку, помогая выйти. Сейчас, разговаривая со своими соседками справа и слева, он не улыбался, смотрел на них в упор, не мигая, и глаза его на бледном лице казались огромными, черными как уголь. А лицо точно каменное.

«Веселенький, должно быть, собеседник», – насмешливо подумала Китти, и ей стало забавно от мысли, как трудно несчастным женщинам поддерживать светскую беседу с этим мрачным истуканом.

Разумеется, он знает. В этом-то можно не сомневаться. И зол на нее как черт. Но почему он ничего не сказал? Неужели и правда, несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит? Однако презрение ее было вполне благодушно: как-никак он ее муж, он ее содержит; и, если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колеса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит, для Уолтера скандал – нож острый. Он по возможности избегает всяких публичных выступлений. Он рассказывал ей, что, когда его однажды вызвали в суд как свидетеля и эксперта, он на целую неделю лишился сна. Робость просто ненормальная.

И еще: ведь мужчины очень тщеславны. Пока не начались пересуды, Уолтер тоже, может быть, будет делать вид, что ничего не случилось. А потом подумалось – может, Чарли и в этом прав, и Уолтер действительно блюдет свою выгоду. Чарли – самый популярный человек в английской колонии и скоро станет губернатором. Он может быть очень полезен Уолтеру, но, если Уолтер вздумает ерепениться, может и очень ему повредить. У нее даже сердце забилося от радости при мысли о том, как энергичен и решителен ее любовник; сама-то она совершенно незащищена перед его властью. Мужчины – странный народ: ей бы и в голову не пришло, что Уолтер способен на такую подлость, но как знать? Вдруг за его серьезностью скрывается

гадкая, расчетливая натура? Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав; и она снова взглянула на мужа. Теперь в ее взгляде не было снисхождения.

Случилось так, что как раз в эту минуту Уолтеровы дамы беседовали каждая со своим другим соседом и он остался в одиночестве. Он смотрел прямо перед собой, забыв об окружающем, и в глазах его была смертельная тоска. Китти стало жутко.

22

На следующий день, когда она прилегла после второго завтрака, в дверь постучали.

– Кто там? – крикнула она сердито. В это время дня ее не полагалось тревожить.

– Это я.

Она узнала голос Уолтера и быстро села в постели.

– Войди.

– Я тебя разбудил? – спросил он, входя.

– Представь себе, да, – отвечала она тем невозмутимо веселым тоном, каким говорила с ним последние два дня.

– Выйди, пожалуйста, мне нужно с тобой поговорить.

Сердце ее точно подпрыгнуло в груди.

– Сейчас надену халат.

Он ушел. Она сунула босые ноги в ночные туфельки и накинула кимоно. Посмотрелась в зеркало, обнаружила, что очень бледна, и слегка поддурмянилась. Постояла в дверях, собираясь с духом, потом с решительным видом вошла в будуар.

– Как это ты вырвался из лаборатории в такой час? Я в это время редко тебя вижу.

– Может быть, сядешь?

Он не смотрел на нее. Говорил очень серьезно. Китти с облегчением опустилась на стул: колени дрожали, и она молчала, не в силах продолжать в том же шутливом тоне. Он тоже сел и закурил. Взгляд его беспокойно блуждал по комнате. Казалось, ему трудно начать.

Вдруг он в упор посмотрел на нее, и, оттого что он так долго отводил от нее глаза, этот взгляд ужасно испугал ее, она чуть не вскрикнула.

– Ты знаешь, что такое Мэй-дань-фу? – спросил он. – Последнее время о нем много писали в газетах.

Она в изумлении уставилась на него. Не сразу решилась спросить.

– Это тот город, где холера? Мистер Арбетнот только вчера о нем говорил.

– Да, там эпидемия. Самая сильная вспышка за много лет. Там работал врач-миссионер. Три дня назад он умер от холеры. Там есть французский монастырь и, конечно, таможенный чиновник. Все остальные европейцы уехали.

Он смотрел на нее не отрываясь, и она, как завороченная, не опускала глаз. Пыталась прочесть выражение его лица, но от волнения не смогла ничего в нем уловить, кроме какой-то странной настороженности. И как он может смотреть так пристально? Даже не моргая.

– Монахини-француженки делают, что могут. Свой детский приют отдали под больницу. Но люди мрут как мухи. Я предложил поехать туда и возглавить медицинскую службу.

– Ты?!

Она вздрогнула. Первой ее мыслью было, что, если он уедет, она будет свободна, сможет без помехи видаться с Чарли. Но она тут же устыдилась этой мысли и густо покраснела. Почему он так смотрит на нее? Она смущенно потупилась и пролепетала:

– Это необходимо?

– Там нет ни одного врача-европейца.

– Но ты же не врач, ты бактериолог.

– У меня, как тебе известно, законченное медицинское образование, и до того, как специализироваться, я успел поработать в больнице. А то, что я в первую очередь бактериолог, это очень кстати. Будет широкое поле для научной работы.

Он говорил небрежно, даже развязно, и она с удивлением увидела в его глазах насмешку. Что-то тут было непонятно.

– Но это ведь очень опасно?

– Очень.

Он улыбнулся. Не улыбка, а издевательская гримаса. Она подперла голову рукой. Самоубийство. Вот это что такое. Ужас. Не думала она, что он так к этому отнесется. Не может она это допустить. Это жестоко. Не виновата она, что не любит его. Но чтобы он из-за нее покончил с собой... По щекам ее потекли слезы.

– О чем ты плачешь? – Голос прозвучал холодно.

– Тебе не обязательно ехать?

– Нет, я еду добровольно.

– Не надо, Уолтер, пожалуйста. А вдруг что-нибудь случится? Вдруг ты умрешь?

Лицо его оставалось бесстрастным, только в глазах опять мелькнула насмешка. Он не ответил.

– А где этот город? – спросила она, помолчав.

– Мэй-дань-фу? На одном из притоков Западной реки. Поедем мы по Западной реке, а дальше в паланкинах.

– Кто это мы?

– Ты и я.

Она бросила на него быстрый взгляд. Может, ослышалась? Но теперь улыбались уже и глаза, и губы. А взгляд был устремлен на нее.

– Ты что же, воображаешь, что и я поеду?

– Я думал, тебе захочется.

Она задышала часто-часто. Всю ее пронизала дрожь.

– Но там не место женщинам. Тот миссионер еще когда отправил свою жену и детей к морю. И чиновник казначейства с женой тоже здесь. Мы с ней недавно познакомились. Я только что вспомнила – она сказала, что уехала откуда-то из-за холеры.

– Там живут пять монахинь-француженок.

Ее охватил безумный страх.

– Ничего не понимаю. Мне туда ехать никак нельзя. Ты же знаешь, какое у меня слабое здоровье. Доктор Хэйуорд сказал, что в жару мне нужно уезжать из Гонконга. А тамошнюю жару я просто не вынесу. Да еще холера. Я от одного страха сойду с ума. Что мне, нарочно себя губить? Незачем мне туда ехать. Я там умру.

Он не ответил. В отчаянии она взглянула на него и чуть не вскрикнула, до того страшным ей вдруг показалось его посеревшее лицо. В нем читалась ненависть. Неужели он хочет, чтобы она умерла? Она сама ответила на эту чудовищную догадку.

– Это глупо. Если ты считаешь, что должен ехать, – дело твое. Но от меня ты не можешь этого требовать. Я ненавижу болезни. А тут эпидемия холеры. Пусть я не бог весть какая храбрая, а скажу – на такую авантюру я не решусь. Я останусь здесь, а потом поеду в Японию.

– А я-то думал, что ты захочешь сопровождать меня в эту опасную экспедицию.

Теперь он откровенно издевался над ней. Она смешалась. Не разобрать было, серьезно он говорит или только хочет ее запугать.

– Никто, по-моему, меня не осудит, если я откажусь ехать в опасное место, где мне нечего делать и где от меня не будет никакой пользы.

– От тебя могла бы быть большая польза. Ты могла бы утешать и подбадривать меня.

Она побледнела.

– Не понимаю, о чем ты говоришь.

– А казалось бы, большого ума для этого не требуется.

– Я не поеду, Уолтер. И не проси, это просто дико.

– Тогда и я не поеду. И сейчас же подам в суд.

23

Она смотрела на него, не понимая. Так неожиданны были его слова, что она не сразу уловила их смысл.

– Ты о чем? – еле выговорила она.

Даже для нее самой это прозвучало фальшиво, а суровое лицо Уолтера выразило презрение.

– Ты, видно, считала меня совсем уж круглым дураком.

Что на это сказать? Она колебалась – то ли изобразить оскорбленную невинность, то ли возмутиться, осыпать его гневными упреками. Он словно прочел ее мысли.

– Все необходимые доказательства у меня есть.

Она заплакала. Слезы лились по щекам, это были легкие слезы, и она не отирала их, выгадывала время, собиралась с мыслями. Но мыслей не было. Он смотрел на нее совершенно спокойно. Это ее пугало. Он стал терять терпение.

– Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.

Его голос, сухой, холодный, пробудил в ней дух протеста. К ней возвращалось самообладание.

– Мне все равно. Ты, надеюсь, не будешь возражать, если я с тобой разведусь. Для мужчины это ничего не значит.

– Разреши спросить, с какой стати мне ради тебя подвергать себя каким-либо неудобствам?

– Тебе это должно быть безразлично. Я, кажется, немного прошу – только чтобы ты поступил как порядочный человек.

– Твое будущее не может меня не беспокоить.

Тут она выпрямилась в кресле и вытерла слезы.

– Ты что, собственно, имеешь в виду?

– Таунсенд на тебе женится, только если будет соответчиком на суде и дело примет такой скандальный оборот, что его жена будет вынуждена с ним развестись.

– Ты сам не знаешь, что говоришь! – воскликнула она.

– Дура ты дура.

Столько презрения было в его тоне, что она вспыхнула от гнева. И гнев ее, возможно, разгорелся потому, что до сих пор она слышала от мужа только ласковые, лестные, приятные слова. Она так привыкла, что он готов выполнить любую ее прихоть.

– Хочешь знать правду – пожалуйста. Он только о том и мечтает, чтобы на мне жениться. Дороти Таунсенд готова хоть сейчас дать ему развод, а как только он будет свободен, мы поженимся.

– Он говорил это тебе в точности такими словами или у тебя просто сложилось такое впечатление?

В глазах Уолтера была злая насмешка. Китти стало не по себе. Она была не вполне уверена, что Чарли когда-либо произнес в точности такие слова.

– Говорил, сто раз говорил.

– Это ложь, и ты это знаешь.

– Он меня любит всем сердцем. Любит так же страстно, как я его. Ты все узнал. Я не намерена отпираться. К чему? Мы уже год как любовники, и я этим горжусь. Он для меня – все на свете, и очень хорошо, что ты это наконец узнал. Нам осточертело скрываться, врать, идти на всякие уловки. Мое замужество было ошибкой, я сглупила. Я никогда тебя не любила. У нас никогда не было ничего общего. Таких людей, какие тебе нравятся, я не люблю, то, что тебе интересно, мне скучно. Слава Богу, теперь с этим покончено.

Он слушал ее, застыв. Слушал внимательно, хотя ни взглядом, ни жестом не показывал, что ее слова как-то на него действуют.

– Ты знаешь, почему я за тебя вышла?

– Знаю. Потому что не хотела, чтобы твоя сестра Дорис вышла замуж раньше тебя.

Так оно и было, но ее немного смутило, что он это знал. Странно, даже в эту минуту страха и гнева ей стало жаль его. Он чуть заметно улыбнулся.

– Я насчет тебя не обольщался, – сказал он. – Я знал, что ты глупенькая, легкомысленная, пустая. Но я тебя любил. Я знал, что твои мечты и помыслы низменны, пошлы. Но я тебя любил. Я знал, что ты – посредственность. Но я тебя любил. Смешно, как подумаешь, как я старался найти вкус в том, что тебя забавляло, как старался скрыть от тебя, что сам-то я не пошляк и невежда, не сплетник, не идиот. Я знал, как тебя отпугивает ум, и всячески пытался внушить тебе, что я такой же болван, как и другие мужчины, с которыми ты была знакома. Я знал, что ты пошла за меня только ради удобства. Я так любил тебя, что решил – пусть так. Насколько я могу судить, те, кто любит без взаимности, обычно считают себя обиженными. Им ничего не стоит озлобиться, очерстветь. Я не из их числа. Я никогда не надеялся, что ты меня полюбишь. С чего бы? Я никогда не считал, что достоин любви. Я благодарил судьбу за то, что мне разрешено любить тебя, замирал от восторга, когда мне казалось, что ты мною довольна, или когда читал в твоих глазах проблеск добродушной симпатии. Я старался не докучать тебе моей любовью, знал, что это обошлось бы мне слишком дорого, подстерегал малейшие признаки раздражения с твоей стороны. То, что большинство мужей считают своим по праву, я готов был принимать как милость.

Китти, с детства привыкшей к лести, еще не доводилось слышать таких слов. Слепая ярость поднялась в ней, вытеснив страх, и душила ее, в висках стучало. Оскорбленное тщеславие способно привести женщину в бешенство, уподобить ее львице, у которой отняли детенышей. Китти по-обезьяньи выпятила вперед нижнюю челюсть, и всегда-то слишком тяжелую, а ее красивые глаза почернели от злости. Но она еще сдерживалась.

– Если мужчина не способен внушить женщине любовь, виноват в этом он, а не она.

– Надо полагать, что так.

Этот издевательский тон пуще разжег ее ярость. Она почувствовала, что может больше его ранить, если сохранит спокойствие.

– Я не очень образованная и не очень умная. Я самая нормальная молодая женщина. Мне нравится то, что нравится людям, среди которых я выросла. Я люблю танцы, теннис, театр, люблю хороших спортсменов. Ты прав, с тобой мне всегда было скучно. То, что тебе нравится, для меня пустой звук, и я об этом не жалею. В Венеции ты таскал меня по бесконечным музеям, когда мне гораздо интереснее было бы играть в гольф в Сандвиче⁴.

– Знаю.

– Мне очень жаль, что я не оправдала твоих ожиданий. К сожалению, как мужчина ты всегда был мне противен. За это ты вряд ли можешь меня осуждать.

– Я и не осуждаю.

Китти легче было бы справиться с такой ситуацией, если бы он злобствовал, бушевал. За это она могла бы отплатить той же монетой. В его сдержанности было что-то сверхчеловеческое, и никогда еще он не вызывал у нее такой ненависти.

– По-моему, ты вообще не мужчина. Почему ты не вломился в спальню, когда знал, что я там с Чарли? Мог хотя бы попробовать исколотить его. Побоялся, да?

Но не успела она это выговорить, как залилась краской – ей стало стыдно. Он не ответил, но в его глазах она прочла ледяное презрение. На губах его промелькнула тень улыбки.

⁴ Сандвич – городок на юге Англии, славившийся своими площадками для игры в гольф. – *Здесь и далее примеч. пер.*

– Возможно, мне, как некоему историческому персонажу, гордость не позволяет лезть в драку⁵.

Китти, не придумав ответа, только пожала плечами. Еще минуту он не спускал с нее неподвижного взгляда.

– Кажется, я сказал все, что хотел сказать. Раз ты отказываешься ехать со мной в Мэй-дань-фу, я подаю на развод.

– Почему ты не согласен, чтобы истицей была я?

Наконец-то он отвел глаза. Он откинулся в кресле, закурил. Молча докурив сигарету до конца. Потом бросил окурочек, улыбнулся и опять посмотрел на Китти.

– Если миссис Таунсенд заверит меня, что разведется с мужем, и если он даст мне письменное обещание жениться на тебе не позже чем через неделю после того, как оба судебных решения вступят в силу, тогда я выполню твою просьбу.

Что-то было в его тоне обескураживающее. Но чтобы не уронить себя, она приняла его слова милостиво и с достоинством:

– Ты очень великодушен, Уолтер.

К ее удивлению, он громко расхохотался. Она вспыхнула от гнева.

– Чему ты смеешься? Не вижу ничего смешного.

– Прошу прощения. Видно, чувство юмора у меня несколько своеобразное.

Она нахмурилась. Хотелось сказать ему что-нибудь злое, обидное, но ничего подходящего не пришло в голову. Он взглянул на часы.

– Ты смотри не опоздай, если хочешь застать Таунсенда на работе. Если ты решишь ехать со мной в Мэй-дань-фу, выезжать нужно послезавтра.

– Ты хочешь, чтобы я ему сказала сегодня?

– Да, чем скорее, тем лучше.

Сердце у нее забилося. Беспокойства она не ощущала, но что-то... что-то тут было не так. Жаль, что у нее нет времени, Чарли следовало бы подготовить. Правда, в нем она вполне уверена, он любит ее не меньше, чем она его, стыдно было даже усомниться в том, что он ухватится за эту возможность обрести свободу. Она горделиво повернулась к Уолтеру.

– Ты, видимо, не знаешь, что такое любовь. Ты даже отдаленно не представляешь себе, какое чувство связывает меня с Чарли. Только это и имеет значение, и нам ничего не стоит пойти на любую жертву, какой наша любовь может потребовать.

Он молча отвесил ей легкий поклон, а потом провожал ее глазами, пока она неспешной поступью не вышла из комнаты.

⁵ В своей речи, произнесенной в Филадельфии 10 мая 1915 года, президент США Вудро Вильсон, отстаивая нейтралитет США в Первой мировой войне, сказал: «Бывает, что человеку гордость не позволяет лезть в драку».

24

Она послала Чарли записку: «Нужно повидаться. Дело срочное». Китаец-рассыльный просил ее обождать и вернулся с ответом, что мистер Таунсенд примет ее через пять минут. Она почему-то взволновалась. Когда ее наконец пригласили в кабинет Чарли, он поднялся ей навстречу, пожал руку, но стоило бою выйти и закрыть за собой дверь, как вся официальная любезность с него слетела.

– Слушай, дорогая, не приходи ты сюда в рабочее время. У меня нет ни минуты свободной, да и не стоит давать людям повод для пересудов.

Она посмотрела на него долгим взглядом и попыталась улыбнуться, но губы словно одеревенели и не слушались.

– Если б можно было не прийти, я не пришла бы.

Он с улыбкой взял ее под руку.

– Ну, раз пришла, так садись.

Комната была голая, узкая, с высоким потолком. Стены выкрашены в терракотовые тона, светлый и темный. Всю обстановку составляли большой письменный стол, кресло-вертушка для Таунсенда и кожаное кресло для посетителей. Китти с опаской в него опустилась. Таунсенд сел за стол. Она еще никогда не видела его в очках, даже не знала, что он их носит. Поймав ее взгляд, он снял очки.

– Я их надеваю только для работы.

У Китти слезы всегда были наготове, и сейчас она ни с того ни с сего расплакалась. В этом не было умышленного обмана, скорее инстинктивное желание вызвать сочувствие. Он вопросительно посмотрел на нее.

– Что-нибудь случилось? Да ну же, дорогая, не надо плакать.

Она достала платок и попыталась сдержать рыдания. Он позвонил и сам подошел к двери встретить рассыльного.

– Если меня будут спрашивать, говорить, что меня нет.

– Понятно, сэр.

Бой закрыл дверь. Чарли присел на ручку кожаного кресла и обнял Китти за плечи.

– Теперь рассказывай, девочка.

– Уолтер требует развода, – сказала она.

Она почувствовала, что его рука уже не так крепко ее обнимает. Все его тело застыло. Последовало короткое молчание, потом Таунсенд встал и пересел на свое кресло-вертушку.

– Как это надо понимать? – спросил он.

Она кинула на него быстрый взгляд, потому что голос его прозвучал хрипло, и увидела, что все лицо его побагровело.

– У нас был разговор. Я сейчас прямо из дому. Он говорит, у него доказательств больше чем нужно.

– Ты, надеюсь, не проболталась? Ничего не признала?

У нее упало сердце.

– Нет.

– Ты хорошо это помнишь?

– Да, – солгала она снова.

Он откинулся в кресле и устремил взгляд на карту Китая, висевшую перед ним на стене. Китти с тревогой следила за ним. То, как он принял ее новость, озадачило ее. Она-то думала, что он заключит ее в объятия, скажет, как он счастлив, что отныне они всегда будут вместе; но мужчины – странный народ. Она тихо заплакала – теперь уже не из желания вызвать его сочувствие, а просто потому, что это казалось так естественно.

– В хорошенькую мы влипли историю, черт возьми, – заговорил он наконец. – Но нельзя терять голову. Слезами, знаешь ли, горю не поможешь.

Она уловила в его голосе досаду и вытерла глаза.

– Я не виновата, Чарли. Я не могла иначе.

– Конечно, не могла. Нам просто не повезло. Тут столько же моей вины, сколько и твоей. Теперь вопрос в том, как нам выпутаться. Тебе, надо полагать, тоже не улыбается роль ответчицы.

Она чуть не ахнула от изумления и постаралась что-нибудь прочесть в его лице. О ней он не думает.

– Интересно, какие у него доказательства. Мне не ясно, как он может доказать, что мы тогда были вместе. Вообще-то мы вели себя достаточно осторожно. И старик Гу-джоу, я уверен, не мог нас выдать. Даже если Уолтер видел, как мы входили в лавку, – ну и что? Почему бы нам вместе не поинтересоваться антикварными вещами?

Он словно рассуждал сам с собой.

– Предъявить обвинение легко, а вот доказать – чертовски трудно; это тебе всякий юрист подтвердит. Наше дело – все отрицать, а если он пригрозит подать в суд – черт с ним, будем бороться.

– Я не могу судиться, Чарли.

– Это еще почему? Очень может быть, что и придется. Видит Бог, скандала я не жажду, но не можем же мы сдаться без боя.

– А зачем нам защищаться?

– Ну и вопрос! Во-первых, дело это касается не только тебя, но и меня. Тебе-то, мне кажется, бояться нечего. С твоим мужем мы уж как-нибудь договоримся. Важно только решить, как половчее за это взяться.

Ему словно пришла в голову какая-то забавная мысль – он повернулся к Китти со своей неотразимой улыбкой и сменил резкий, деловой тон на заискивающий.

– Бедняжка моя, нелегко тебе пришлось, я понимаю. – Он потянулся через стол и сжал ее руку. – Попались мы с тобой, но как-нибудь выкрутимся, мне это... – Он осекся, и Китти показалось, что он чуть не сказал, что ему не впервой выкручиваться из таких передрыг. – Главное – не терять голову. Ты же знаешь, я тебя не подведу.

– Я не боюсь. Пусть делает что хочет.

Он еще улыбался, но теперь уже чуть наигранно.

– В крайнем случае придется мне покаяться губернатору. Он меня отчитает по первое число, но он добрый малый, и к тому же человек светский. Он это как-нибудь уладит. Ему публичный скандал тоже не пошел бы на пользу.

– А что он может сделать? – спросила Китти.

– Оказать нажим на Уолтера. Попробует сыграть на его самолюбии, а если не выйдет, тогда на его чувстве долга – это уж дело верное.

Китти приуныла. Ну как Чарли не понимает, до чего это все серьезно! Его легкомысленный тон совсем неуместен. Напрасно она пришла к нему на службу. Здешняя обстановка подавляет ее. Куда легче было бы все ему объяснить, если б они сидели обнявшись.

– Не знаешь ты Уолтера, – сказала она.

– Зато знаю, что купить можно каждого.

Она любила Чарли всем сердцем, но его ответ обескуражил ее: как мог такой умный человек сболтнуть такую глупость?

– Ты, наверно, не понимаешь, до чего Уолтер рассержен. Ты не видел, какое у него было лицо, какие глаза.

Он ответил не сразу, только поглядел на нее с легкой усмешкой. Она поняла, о чем он думает. Уолтер – бактериолог, положение его подчиненное; едва ли у него хватит наглости пойти наперекор высокому начальству.

– Не обольщайся, Чарли, – сказала она очень серьезно. – Если Уолтер решил подать в суд, слова на него не действуют, ни твои, ни чьи бы то ни было.

Лицо его снова помрачнело.

– Он уж не хочет ли сделать меня соответчиком?

– Сначала хотел, но я его отговорила, он согласился, чтобы я сама подала на развод.

– Ну, тогда это не так страшно. – В его глазах она снова прочла облегчение. – Это, по моему, превосходный выход. Что же и остается мужчине, если он порядочный человек.

– Но он ставит условие.

Он посмотрел на нее вопросительно, как бы что-то соображая.

– Я, конечно, не богач, но все, что могу, сделаю.

Китти промолчала. Чарли сегодня говорит совсем непохоже на себя. И от этого ей особенно трудно. Она-то думала, что выложит ему все сразу, спрятав пылающее лицо у него на груди!

– Он согласен, чтобы я развелась с ним, если твоя жена разведется с тобой.

– Это все?

Китти выговорила, запинаясь:

– Ужасно трудно это сказать, Чарли, это звучит так страшно... и если ты пообещаешь жениться на мне не позже чем через неделю после того, как судебные решения войдут в силу.

25

Он ответил не сразу. Снова ласково сжал ее руку.

– Вот что, девочка. Как бы ни обернулось дело, Дороти мы не должны в это впутывать.

Она изумилась:

– Но я не понимаю. Как же так?

– Ну, знаешь ли, в этой жизни нельзя думать только о себе. При прочих равных условиях я бы завтра же на тебе женился. Но это исключено. Я знаю Дороти: ничто не заставит ее развестись со мной.

Китти почувствовала, что ее охватывает ужас. Она опять заплакала. Он встал, подсел к ней, обнял.

– Мужайся, девочка. Нельзя терять голову.

– Я думала, ты меня любишь...

– Конечно, люблю, – произнес он нежно. – Неужели ты в этом сомневаешься?

– Если она с тобой не разведется, Уолтер сделает тебя соответчиком.

Он выдержал заметную паузу, прежде чем ответить. Голос его звучал холодно.

– Это, конечно, означало бы конец моей карьеры, но боюсь, что и тебе бы не помогло. Если дойдет до крайности, я во всем признаюсь Дороти. Для нее это будет страшный удар, большое горе, но она простит меня. – Новая мысль пришла ему в голову. – Пожалуй, самое лучшее – рассказать ей все теперь же. Если она встретится с твоим мужем, то, возможно, сумеет уговорить его держать язык за зубами.

– Проще говоря, ты не хочешь, чтобы она с тобой развелась?

– Я и о сыновьях должен подумать, разве не так? И конечно, мне не хочется доставлять ей страдания. Мы всегда с нею ладили. Она, знаешь ли, жена, каких мало.

– Зачем же ты говорил мне, что она для тебя ничто?

– Я этого не говорил. Я говорил, что не влюблен в нее. Мы уже давно не спим вместе, разве что в исключительных случаях, на Рождество, например, или накануне ее отъезда в Англию, или в день возвращения. Для нее это вообще не так уж важно. Но мы всегда оставались друзьями. Могу тебе прямо сказать – никто даже представления не имеет о том, как всецело я на нее полагаюсь.

– В таком случае не лучше ли было оставить меня в покое?

Странно, что она может говорить так спокойно, когда сердце сжимается от ужаса.

– Такой прелестной женщины, как ты, я не встречал уже много лет. Я безумно тобой увлекся. За это ты едва ли можешь меня осуждать.

– И между прочим, ты говорил, что не подведешь меня.

– О Господи, да я и не собираюсь тебя подводить. Мы влипли в пренеприятную историю, и я сделаю все, что в моих силах, чтоб тебя вызволить.

– Все, кроме того, что только и было бы логично и естественно.

Он встал и пересел в свое кресло.

– Дорогая моя, будь же благоразумна. Лучше отнестись к этой ситуации трезво. Мне не хочется огорчать тебя, но я должен сказать тебе правду. Я очень дорожу моей карьерой; не сегодня завтра я могу оказаться в губернаторском кресле, а пост губернатора колонии – это, черт возьми, не шутка. Если мы не сумеем замять это дело, все мои планы вылетят в трубу. Со службы меня, возможно, и не выгонят, но и продвинуться не дадут – репутация-то подмочена. А если все же придется расстаться со службой, тогда надо будет вступить в какое-нибудь дело здесь, в Китае, где у меня есть связи и много знакомых. И в том, и в другом случае я смогу добиться успеха, только если Дороти меня не бросит.

– Так нужно ли было говорить мне, что тебе ничего на свете не нужно, кроме меня?

Его губы капризно скривились.

– Ох, моя милая, нельзя же понимать буквально каждое слово влюбленного мужчины.

– Значит, ты мне лгал?

– В ту минуту – нет.

– А что будет со мной, если Уолтер со мной разведется?

– Если мы убедимся, что дело безнадежное, тогда, конечно, защищаться не будем. Особенной огласки я не предвижу, в наше время к таким вещам относятся снисходительно.

В первый раз Китти подумала о своей матери. Она поежилась. Опять поглядела на Таунсенда. К ее боли теперь примешивалась обида.

– Ты-то, конечно, с легкостью перенесешь все неудобства, какие выпадут мне на долю.

– Не вижу, какой нам смысл обмениваться колкостями.

У нее вырвался крик отчаяния. Какая мука – так страстно его любить и так в нем разочароваться. Нет, это немыслимо, не может он не понимать ее состояния.

– Чарли! Неужели ты не знаешь, как я люблю тебя?

– Но, дорогая моя, я тоже тебя люблю. Только мы живем не на необитаемом острове, и надо мириться с обстоятельствами, когда они сильнее нас. Будь же благоразумна.

– Как я могу быть благоразумной? Для меня наша любовь была всем на свете, в тебе была вся моя жизнь. Не очень-то приятно узнать, что в твоей жизни я была всего лишь эпизодом.

– Неправда, какой там эпизод. Но знаешь ли, когда ты требуешь, чтобы со мною развелась жена, к которой я очень привязан, и чтобы я погубил свою карьеру, женившись на тебе, ты требуешь очень многого.

– Не больше того, на что я готова пойти ради тебя.

– Обстоятельства-то у нас не одинаковые.

– Вся разница в том, что ты меня не любишь.

– Можно любить женщину очень сильно и все же не мечтать о том, чтобы прожить с нею всю жизнь.

Отчаяние овладело ею. Тяжелые слезы поползли по щекам.

– О, как это жестоко! Как ты можешь быть таким бессердечным!

Она истерически зарыдала. Он бросил тревожный взгляд на дверь.

– Постарайся взять себя в руки, милая.

– Ты не знаешь, как я тебя люблю, – всхлипнула она. – Я не могу без тебя жить. Неужели тебе не жаль меня?

Не в силах продолжать, она опять дала волю слезам.

– Я не хочу быть жестоким и, видит Бог, не хочу оскорблять твои чувства, но сказать тебе правду я должен.

– Вся моя жизнь пошла прахом. Почему ты не мог оставить меня в покое? Что я тебе сделала плохого?

– Конечно, если для тебя легче взвалить всю вину на меня, сделай одолжение.

Китти вскипела от ярости.

– Я, значит, вешалась тебе на шею? Не успокоилась, пока ты не внял моим мольбам?

– Этого я не говорю. Но мне, безусловно, и в голову не пришло бы за тобой ухаживать, если бы ты не дала понять, совершенно недвусмысленно, что готова принять мои ухаживания.

О, какой стыд! И ведь она знает, что это правда. Лицо у него стало угрюмое, озабоченное, руки беспокойно двигались. Он поглядывал на нее, уже не скрывая раздражения.

– Ты думаешь, муж тебя не простит? – спросил он, помолчав.

– Я не просила у него прощения.

Он невольно стиснул кулаки. Она увидела, что он с трудом удержался от крепкого словца.

– А ты пойдешь к нему, изобрази кающуюся грешницу. Если он любит тебя так, как ты уверяешь, он не может не простить.

– Плохо же ты его знаешь.

26

Она утерла слезы, постаралась успокоиться.

– Чарли, если ты меня бросишь, я умру.

Ей оставалось одно – взывать к его состраданию. Надо было сразу сказать ему. Когда он узнает, перед каким выбором она поставлена, его великодушие, чувство справедливости, мужское достоинство, наконец, так возмутятся, что он забудет обо всем, кроме грозящей ей опасности. О, как хотелось ей сейчас ощутить себя под надежной защитой любимых рук!

– Уолтер хочет, чтобы я поехала в Мэй-дань-фу.

– Что? Но ведь там холера. Самая сильная вспышка за пятьдесят лет. Там женщинам не место. Не можешь ты туда ехать.

– Если ты от меня отступишься – придется.

– То есть как? Я не понимаю.

– Уолтер решил сменить того врача-миссионера, который умер. И хочет, чтобы я поехала с ним.

– Когда?

– Теперь же. Сразу.

Таунсенд отодвинулся назад вместе с креслом и воззрился на нее.

– Наверно, я совсем поглупел, я просто не могу взять в толк, что ты такое говоришь. Если он хочет, чтобы ты ехала с ним, при чем же тогда развод?

– Он предложил мне выбор: либо я еду с ним, либо он подает на развод.

– Ах вот как. – Тон его чуть заметно изменился. – По-моему, это очень благородно с его стороны, ты не находишь?

– Благородно?!

– Ну как же, сам вызвался ехать в такое место. Я бы, прямо скажу, не рискнул. Конечно, по возвращении ему обеспечен орден Михаила и Георгия.

– А я-то, Чарли! – воскликнула она с болью в голосе.

– Что ж, если он хочет взять тебя с собой, в данных обстоятельствах отказываться как-то некрасиво.

– Но это смерть, верная смерть.

– Это уж ты, черт возьми, преувеличиваешь. Не повез бы он тебя туда, если б так думал. И для тебя там меньше риска, чем для него. Риска вообще, можно сказать, никакого – надо только соблюдать осторожность. При мне здесь была одна вспышка, ну и ничего. Главное – не есть ничего в сыром виде: ни фруктов, ни салатов из овощей – и воду пить только кипяченую.

Он говорил все более уверенно и свободно, и лицо оживилось, вся угрюмость пропала, он был почти весел.

– Как-никак это его специальность. Он интересуется микробами. В сущности, для него это редкая удача.

– Но я-то, Чарли! – повторила она уже не с болью, а с ужасом.

– Чтобы понять человека, нужно поставить себя на его место. С его точки зрения, ты вела себя далеко не примерно, и он хочет оградить тебя от соблазнов. Мне с самого начала казалось, что разводиться с тобой он не хочет, не в его это характере, и он предложил тебе выход, по его мнению великодушный, а ты отказалась, вот он и взбеленился. Я не хочу тебя обвинять, но мне кажется, что ради нас всех тебе следовало бы отнестись к этому не так опрометчиво.

– Но как ты не понимаешь, что это меня убьет? И разве не ясно, что он потому и тащит меня туда, что знает это?

– Да перестань ты, девочка. Положение наше хуже некуда, и, право же, сейчас не время разыгрывать мелодраму.

– А ты нарочно не желаешь ничего понять.

О, какая это мука, и как страшно. Впору закричать в голос.

– Не можешь ты послать меня на верную смерть. Пусть у тебя нет ко мне ни любви, ни жалости, но должно же быть какое-то человеческое отношение.

– Ты, пожалуй, ко мне несправедлива. Сколько я могу понять, твой муж поступил очень великодушно. Он готов тебя простить, а ты отказываешься. Он хочет тебя увезти, и вот представлялась возможность увезти тебя в такое место, где ты на несколько месяцев будешь ограждена от соблазнов. Я не утверждаю, что Мэй-дань-фу – курорт. Этого ни про один китайский город не скажешь. Но это еще не причина для паники. Поддаться панике – самое опасное дело. Я уверен, что во время эпидемий столько же людей умирает от страха, сколько и от самой болезни.

– А мне уже сейчас страшно. Когда Уолтер об этом заговорил, я чуть в обморок не упала.

– Ну понятно, в первую минуту ты струхнула, но потом посмотришь на это трезво, и все обойдется. Такое захватывающее приключение мало кому доводится пережить.

– Я думала, я думала...

Она корчилась, как от физической боли. Он молчал, и опять на лице его появилось угрюмое выражение, которого она до последнего времени на нем никогда не видела. Теперь Китти не плакала. Она сидела спокойно, с сухими глазами, и голос ее прозвучал тихо, но твердо.

– Значит, ты хочешь, чтобы я уехала?

– Выбора-то у нас нет.

– Разве?

– Скажу честно: если бы твой муж подал в суд на развод и выиграл дело, я все равно не мог бы на тебе жениться.

Минуты, пробежавшие до ее ответа, вероятно, показались ему вечностью. Она медленно встала с места.

– Я думаю, мой муж и не собирался подавать в суд.

– Так какого же черта ты меня напугала до полусмерти?

Она смерила его спокойным взглядом.

– Он знал, что ты от меня отступишься.

И умолкла. Постепенно, как бывает, когда изучаешь иностранный язык и целая страница сперва кажется совсем непонятной, а потом ухватишься за какую-нибудь одну фразу или слово, и внезапно твой усталый мозг хотя бы приблизительно осмысливает всю страницу, – так же постепенно и приблизительно ей открывался ход мыслей Уолтера. Словно темный, мрачный пейзаж озаряла молния и тут же снова поглощала тьма. И она содрогалась от того, что успевала увидеть.

– Он пустил в ход эту угрозу только потому, что знал, что ты перед ней спасуешь, Чарли. Поразительно, как безошибочно он тебя расценил. А подвергнуть меня такому жестокому разочарованию – это на него похоже.

Чарли опустил глаза на лежавший перед ним лист промокашки. Он надул губы и слегка хмурился, но не отвечал.

– Он знал, что ты трус, тщеславный, корыстный. И хотел, чтобы я сама в этом убедилась. Он знал, что стоит возникнуть опасности, и ты пустишься наутек, как заяц. Он знал, как страшно я ошибалась, воображая, что ты меня любишь, потому что знал, что ты способен любить только себя. Он знал, что ты с легкостью мною пожертвуешь, лишь бы спасти свою шкуру.

– Если тебе доставляет удовольствие поливать меня грязью, что ж, я, наверно, не вправе возражать. Женщины вообще несправедливы, и обычно им удается свалить всю вину на мужчину. Но и у другой стороны могут найтись веские доводы.

Она будто и не слышала.

– Теперь я знаю все, что он знал давно. Знаю, что ты черствый, бессердечный. Что ты эгоист до мозга костей, что храбрости у тебя как у кролика, что ты лжец и притворщик, презренный человек. И самое ужасное, – лицо ее исказилось от боли, – самое ужасное то, что все-таки я люблю тебя без памяти.

– Китти!

Она горько усмехнулась. Он произнес ее имя тем вкрадчивым, проникновенным тоном, который давался ему так легко и значил так мало.

– Болван! – сказала она.

Он отшатнулся, ошеломленный, разобиженный до глубины души. В ее глазах светилась насмешка.

– Я тебе, кажется, стала меньше нравиться? Ну ничего, пусть так и будет. Мне теперь все равно. – И стала натягивать перчатки.

– Как же ты поступишь? – спросил он.

– А ты не бойся, тебе ничего не грозит. Ты не пострадаешь.

– Ради Бога, Китти, не надо так говорить. – В его звучном голосе слышалась тревога. – Ты же знаешь, все, что касается тебя, касается меня. Я не успокоюсь, пока не буду знать, что будет дальше. Что ты скажешь мужу?

– Скажу, что согласна ехать с ним в Мэй-дань-фу.

– Если ты согласишься, он, может быть, не будет настаивать.

Почему она так странно посмотрела на него в ответ на эти слова?

– И ты не боишься?

– Нет, – ответила она, – ты вселил в меня мужество. Пожить в холерном городе – это интереснейшее приключение, а если я умру, значит, так тому и быть.

– Я старался обойтись с тобой как можно мягче.

Она опять на него взглянула. Слезы выступили на глазах, сердце разрывалось. Неудержимо тянуло броситься ему на шею, впиться губами в его губы. Ни к чему это.

– Если хочешь знать, – сказала она, стараясь, чтобы голос не дрогнул, – в сердце у меня ужас и смерть. Я не знаю, что там у Уолтера в его темной, путаной душе, но сама трясусь от страха. Может быть, смерть даже будет для меня избавлением.

Чувствуя, что самообладание ее иссякло, она быстро пошла к двери и выскользнула из комнаты, не дав ему даже времени встать с места. У Таунсенда вырвался долгий вздох облегчения. Больше всего ему сейчас хотелось выпить бренди с содовой.

27

Уолтера она застала дома. Она хотела пройти прямо к себе, но он был внизу, в прихожей, – давал распоряжения одному из боев. Она была так измучена, что с готовностью пошла на неминуемое унижение. Задержавшись около мужа, она сказала:

– Я еду с тобой.

– Вот и отлично.

– Когда мы уезжаем?

– Завтра вечером.

Его равнодушие подействовало на нее как укол копья. Она даже сама удивилась, когда сказала с вызовом:

– Наверно, достаточно будет взять с собой несколько летних платьев и саван?

По его лицу она поняла, что ее легкомысленный тон рассердил его.

– Я уже сказал твоей горничной, что отобрать.

Она кивнула и поднялась к себе в спальню. В лице ее не было ни кровинки.

28

Наконец-то они приближались к месту своего назначения. Уже сколько времени, день за днем, их несли в паланкинах по узкой грунтовой дороге между нескончаемых рисовых полей. Они выступали с рассветом и двигались до тех пор, пока дневная жара не загоняла их в какую-нибудь придорожную харчевню, а потом снова в путь – до того города, где намечено было остановиться на ночлег. Возглавлял шествие паланкин Китти, за ней следовал Уолтер; последними шли кули, сгибаясь под тяжестью постелей, съестных припасов и прочей клади. Китти ничего не видела вокруг. В долгие часы, когда молчание лишь изредка нарушал возглас носильщика или обрывок несуразной песни, она мучительно перебирала в памяти все подробности душевизирующей сцены в служебном кабинете у Чарли. Вспоминая, что он сказал ей и что она сказала ему, она ужасалась, до чего же прозаический и деловой получился их разговор. Она не сказала того, что хотела сказать, говорила не тем тоном, каким собиралась. Если бы она сумела объяснить ему, как безгранично, как страстно она его любит, он не показал бы себя таким бесчеловечным, не бросил бы ее на произвол судьбы. Она просто не успела опомниться. Не поверила своим ушам, когда он дал ей понять – без слов, но до ужаса ясно, – что она для него ничто. Потому она и плакала тогда так мало – слишком была ошарашена. Потом-то наплакалась.

По ночам в харчевнях, где им с мужем отводили лучшую комнату, лежа без сна и зная, что Уолтер на своей походной койке в нескольких футах от нее тоже не спит, она кусала подушку, чтобы он не услышал ни звука. Но днем, за шторами паланкина, давала себе волю. Боль ее была так сильна, что впору кричать на крик; она и не знала, что бывает такое жгучее страдание, и в отчаянии спрашивала себя, чем она его заслужила. Почему, почему Чарли ее не любит? Наверно, она сама виновата, но ведь она сделала все, чтобы удержать его любовь. Им всегда так хорошо бывало вместе, они все время смеялись, были не только любовниками, но и добрыми друзьями. Нет, она отказывалась понять и чувствовала, что сломлена. Она твердила себе, что ненавидит его, презирает, но как жить дальше, если она никогда больше его не увидит? Если Уолтер везет ее в Мэй-дань-фу в наказание, это глупо с его стороны: не все ли ей теперь едино, что с ней станет? Жить больше незачем. Тяжело это – покончить счеты с жизнью в двадцать семь лет.

29

На пароходе, увозившем их вверх по Западной реке, Уолтер не отрываясь читал, но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутчицей, о всяких пустяках – из вежливости, думала Китти, или чтобы еще подчеркнуть разделявшую их пропасть.

В минуту прозрения она сказала Чарли, что Уолтер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в зараженный город, чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было, такой маневр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится, еще до того, как она вернулась домой, и дал ее горничной нужные распоряжения. В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к ее любовнику. Возможно, он говорил себе, что, будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради нее на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела, как мог он заставить ее подвергнуть себя такой опасности, да еще зная, как это ее страшит? Сначала она думала, что он шутит, – до самого отъезда, нет, дольше, до того, как они сошли на берег и двинулись дальше в паланкинах, все ждала, что он скажет, со своим сдержанным смешком, что она, если хочет, может вернуться. Что у него на уме – ей не понять. Не может же он в самом деле желать ее смерти, ведь он так любил ее. Она теперь знает, что такое любовь, тысячу раз он доказывал, как сильно ее любит. Каждое ее слово было для него закон. Не может быть, чтобы он ее разлюбил. Неужели можно разлюбить, если с тобой обошлись жестоко? Она не ранила его так больно, как Чарли ранил ее, а ведь она, несмотря ни на что, по первому знаку Чарли, хоть теперь она его знает, махнула бы рукой на все блага мира и кинулась ему на грудь. Пусть он принес ее в жертву, пусть он бездушный эгоист, но она его любит.

Сперва она думала, что нужно только подождать, рано или поздно Уолтер простит ее. Она была слишком уверена в своей власти над ним, не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. «Большие воды не могут потушить любви...»⁶ Раз он любил ее, значит, был слабый, а потому и разлюбить ее не должен. Но теперь ее уверенность поколебалась. Вечерами, когда он читал, сидя на жестком стуле, и свет лампы «молния» падал на его лицо, она могла без помехи его разглядывать. Она лежала в тени, на тюфяке, где ей должны были постелить постель. Лицо его с правильными прямыми чертами казалось очень строгим. Кто бы поверил, что порой его озаряет такая ласковая улыбка. Он читал спокойно, точно был от нее за тысячу миль; она видела, как он переворачивает страницы, как переводит глаза со строчки на строчку. О ней он не думал. А когда стол накрывали и появлялся обед, он откладывал книгу и коротко взглядывал на нее (забыв, что лицо его на свету, он не старался смягчить его выражение), и она с испугом читала в его глазах физическую гадливость. Это пугало ее. Неужели от его любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал ее погубить? Да нет же, это был бы поступок сумасшедшего. И легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Уолтер, может быть, не вполне нормален.

⁶ Библия. «Песнь песней Соломона», 8:7.

30

Ее носильщики, долго шагавшие молча, вдруг заговорили, и один из них попытался жестом и непонятными словами привлечь ее внимание. Она посмотрела в ту сторону, куда он указывал, и там, на вершине холма, увидела ворота. Она уже знала, что ворота воздвигнуты в память какого-нибудь знаменитого ученого или добродетельной вдовы, – с тех пор как они сошли на берег, она уже видела много таких сооружений; но эти ворота, черные на фоне заходящего солнца, показались ей особенно причудливыми и прекрасными. А между тем зрелище это почему-то ее встревожило: в нем таился какой-то смысл – она смутно чувствовала это, но не могла бы выразить словами. Что это, угроза, насмешка? Они вступили в бамбуковую рощу, и стволы склонялись над дорогой, словно хотели задержать паланкин; и, хотя в этот вечер не было ни ветерка, узкие зеленые листья чуть подрагивали. Создавалось впечатление, будто меж стволов кто-то прячется и следит за ней. Они подошли к подошве холма, рисовые поля кончились. Носильщики бодрым шагом стали подниматься в гору. Весь склон покрывали зеленые холмики, теснившиеся близко-близко друг к другу, так что поверхность получалась рубчатая, как песчаный пляж во время отлива. И это тоже было знакомо: в точности такое место встречалось им на подходе к каждому густонаселенному городу. Кладбище! Теперь стало ясно, почему носильщик обратил ее внимание на ворота, венчающие холм: конец пути был уже близок.

Они прошли под воротами, и носильщики остановились, чтобы переложить палки от паланкина с плеча на плечо. Один из них вытер потное лицо грязной тряпкой. Дорога пошла под гору. По обеим сторонам лепились грязные домишки. Уже темнело. И вдруг носильщики взволнованно залопотали и одним прыжком, резко встряхнув паланкин, прижались к стене. Китти тут же поняла, чего они испугались: пока они стояли, громко переговариваясь, навстречу быстро и молча прошло четверо крестьян, несущих гроб, новый, некрашенный, в сумерках он казался совсем белым. Сердце у Китти заколотилось от страха, гроб проплыл мимо, а носильщики все стояли как вкопанные, словно не могли заставить себя сдвинуться с места. Но вот сзади раздался окрик, и они тронулись. Теперь они шли молча.

Еще через несколько минут они круто свернули в ограду. Паланкин опустили на землю. Долгая дорога осталась позади.

31

Дом был одноэтажный, с верандами. Сразу с порога Китти оказалась в гостиной. Она села и стала смотреть, как кули один за другим вносят в дом тяжелую кладь. Уолтер во дворе распоряжался, что куда нести. Она очень устала и даже вздрогнула, услышав незнакомый голос:

– Можно войти?

Ее познабливало. В таком нервном состоянии ей вовсе не улыбалось с кем-то знакомиться. Какой-то человек выступил из темноты – длинная узкая комната была освещена всего одной лампой – и протянул ей руку.

– Уоддингтон. Я помощник полицейского комиссара.

– А-а, знаю, таможня. Мне говорили, что вы здесь.

В полумраке она разглядела только, что он худой и маленький, не выше ее ростом, с лысой головой и бритым лицом.

– Я живу внизу, в начале подъема, но вы мимо моего дома не ехали. Я подумал, вы, наверно, совсем выдохлись, пойти ко мне обедать не захотите, потому и заказал для вас обед здесь и сам назвался к вам в гости.

– Очень приятно слышать.

– Повар неплох, вот увидите. Я всех слуг Уотсона для вас тут оставил.

– Уотсон – это тот миссионер, который здесь жил?

– Да. Отличный был малый. Завтра я, если хотите, покажу вам его могилу.

– Вы очень любезны, – улыбнулась Китти.

Тут вошел Уолтер. Уоддингтон представился ему еще во дворе, а теперь сказал:

– Я тут предупредил вашу супругу, что буду у вас обедать. С тех пор как умер Уотсон, мне и поговорить-то не с кем, разве что с монахинями, но я во французском не силен, к тому же и говорить с ними можно далеко не обо всем.

– Сейчас бой принесет напитки, – сказал Уолтер.

Слуга принес виски и содовой, и Китти заметила, что Уоддингтон налил себе изрядную порцию. Еще когда он только вошел, она по его манере говорить и частым смешкам заподозрила, что он не совсем трезв.

– Ваше здоровье, – сказал он, а потом обратился к Уолтеру: – Работы вам здесь хватит. Люди мрут как мухи. Городской голова уже ничего не соображает, а полковник Ю, он командует гарнизоном, все силы тратит на то, чтобы не дать своим солдатам пуститься в мародерство. Если в самом скором времени что-нибудь не изменится, нас всех убьют в постели. Я пытался уговорить монахинь, чтоб уезжали отсюда, но они, конечно, ни в какую. Все как одна желают заработать мученический венец, чтоб им пусто было.

Говорил он легким, поверхностным тоном, и в голосе слышался призрак смеха, так что, слушая его, трудно было удержаться от улыбки.

– А вы почему не уехали? – спросил Уолтер.

– Да как вам сказать, половину моих подчиненных я потерял, и остальные вот-вот лягут и умрут. Кто-то должен же остаться и поддерживать хотя бы видимость порядка.

– Прививку сделали?

– Да. Еще Уотсон заставил. Он и себе сделал прививку, но ему, бедняге, это не очень-то помогло. – Он повернулся к Китти, его забавная рожица весело сморщилась. – Большого риска, по-моему, нет, надо только соблюдать осторожность. Молоко и воду обязательно кипятить, не есть сырых фруктов и овощей. Вы граммофонных пластинок не привезли?

– Кажется, нет, – сказала Китти.

– Вот это жаль. Я-то надеялся. Давненько я не покупал пластинок, а свои старые слушать больше не могу.

Вошел бой узнать, можно ли подавать обед.

– Вы ведь нынче не будете переодеваться? – спросил Уоддингтон. – У меня бой на прошлой неделе умер, а новый – олух, так что я перестал переодеваться к обеду.

– Пойду сниму шляпу, – сказала Китти.

Ее комната была рядом с той, где они сидели. На полу, поставив рядом с собой лампу, сидела служанка и распаковывала ее пожитки.

32

Столовая была маленькая, почти всю ее занимал огромный стол. На стенах висели гравюры на библейские темы и иллюминированные тексты.

– У миссионеров всегда большие столы, – объяснил Уоддингтон. – Им на каждого ребенка полагается прибавка к жалованью, а столы они покупают, когда женятся, чтобы было где усадить весь выводок.

С потолка свисала большая керосиновая лампа, так что Китти могла теперь получше рассмотреть Уоддингтона. Оттого, что он был лысый, она было подумала, что он уже немолод, но теперь увидела, что ему, конечно, нет и сорока. Лицо под высоким выпуклым лбом было свежее и без морщин, безобразное, как у обезьянки, но не отталкивающее; очень занятое лицо. Нос и рот маленькие, как у ребенка, и небольшие ярко-голубые глаза. Похож на смешного старенького мальчика. Он не скупясь подливал себе вина – и к концу обеда был порядком пьян. Но пьянел он безобидно, весело, точно сатир, стащивший бурдюк у вздремнувшего пастуха.

Он болтал о Гонконге, где у него было много знакомых, расспрашивал о них. В прошлом году он побывал там на скачках и теперь вспоминал лошадей и их владельцев.

– Кстати, а как там Таунсенд? – спросил он вдруг. – Займет он пост губернатора?

Китти почувствовала, что краснеет, но муж не смотрел на нее. Он ответил:

– Очень возможно.

– Да, он из таких.

– Вы с ним знакомы? – спросил Уолтер.

– А как же. Один раз вместе плыли из Англии.

Из-за реки послышались удары гонга и треск хлопушек. Там, совсем близко от них, корчился в страхе город, и смерть, внезапная и безжалостная, металась по извилистым улицам. А Уоддингтон заговорил о Лондоне, о театрах. Он был в курсе всего, что шло на лондонских сценах, рассказал, какие спектакли видел сам, когда в последний раз приезжал в Англию в отпуск. Он смеялся, вспоминая шутки низкопробного комика, вздыхал, восторгаясь красотой опереточной дивы. С явным удовольствием похвастался, что на одной из самых среди них знаменитых женился его родственник, он однажды завтракал у них, и она подарила ему свою фотографию – непременно покажет, когда они будут обедать у него в управлении.

Уолтер поглядывал на гостя с холодной насмешкой, но гость, очевидно, забавлял его, и он старался проявить интерес к вещам, в которых, как знала Китти, ничего не смыслил. А Китти, сама не зная почему, снова поддалась страху. В доме умершего миссионера, так близко от зараженного города, они словно были отрезаны от всего мира. Три одиноких человека, чужие друг другу.

Обед кончился, она встала.

– Вы не обидитесь, если я пожелаю вам спокойной ночи? Я иду спать.

– А я откланяюсь, – ответил Уоддингтон. – Доктор, наверно, тоже валится с ног. Завтра нам надо выйти пораньше.

Он пожал Китти руку. На ногах он держался твердо, а глаза блестели ярче прежнего.

– Я за вами зайду, – сказал он Уолтеру. – Поведу вас знакомиться с городским головой и с полковником Ю, а потом в монастырь. Да, работы вам здесь хватит.

33

В ту ночь ее мучили странные сны. Словно ее несут в паланкине, и чувствуется, как его покачивает, потому что носильщики идут размашистым, неровным шагом. Они входили в города, большие и сумрачные, и к ним сбегались толпы любопытных. Улицы были узкие, кривые, а в открытых лавках, полных экзотических товаров, с их появлением прекращалась торговля – и продавцы, и покупатели замирали на месте. Потом они приблизились к мемориальным воротам, и причудливые их очертания внезапно ожили, стали похожи на машущие руки индусского бога, а сверху раздавались отзвуки язвительного смеха. Но тут появился Чарли Таунсенд, обнял ее, поднял с сиденья и сказал, что все это было ошибкой, он совсем не хотел обойтись с ней так дурно, ведь он ее любит и не может без нее жить. Она чувствовала на губах его поцелуи и, плача от счастья, спрашивала, почему же он поступил так жестоко, но, спрашивая, уже знала, что это не имеет значения. А потом раздался хриплый возглас, их разлучили, и между ними торопливо и молча прошли кули в синих лохмотьях – они несли гроб.

Она проснулась от страха.

Их дом стоял на склоне крутого холма, из окна ей была видна узкая река глубоко внизу, а за рекой – город. Только что рассвело, от реки поднимался белый туман, окутавший джонки, причаленные тесно одна к другой, как горошины в стручке. Сотни джонок, беззвучных и загадочных в призрачном свете, словно обитатели их во власти колдовских чар, словно не просто сон, а некто странный и грозный обрек их на эту неподвижность и безмолвие.

Утро разгоралось, и солнце коснулось тумана, так что он засветился белым, как призрак снега на угасающей звезде. На реке уже было светло, стали видны несчетные джонки и густой лес их мачт, но выше, впереди, поднималась непроницаемая светящаяся стена. И вдруг из этого белого облака выступила высокая, массивная, мрачная крепость. Казалось, ее не просто открыло взору всепроникающее солнце – скорее, она возникла из пустоты, по мановению волшебной палочки. Она повисла над рекой, как твердыня жестокого владыки варварского племени. Но волшебник, строивший ее, работал быстро, и вот уже с одной стороны ее увенчала зубчатая стена; а еще через минуту из тумана проглянуло, все в пятнах солнечных бликов, скопище зеленых и желтых крыш. Они казались громадными, не складывались в общий рисунок. Если и образовали узор, то неуловимый для глаза, капризный и замысловатый, но невообразимо прекрасный. То была уже не крепость и не храм, но волшебные чертоги некоего владыки богов, недоступные для смертных. Таким воздушным, сказочным, невещественным не могло быть творение рук человеческих; его породила мечта, сновиденье.

По лицу Китти бежали слезы, а она все смотрела не отрываясь, прижав к груди руки, приоткрыв рот, едва дыша. Никогда еще она не испытывала такой душевной легкости, ей казалось, что тело ее, как сброшенная оболочка, лежит у ее ног, а сама она обратилась в чистейший дух. Перед ней была Красота, и Китти впивала ее, как верующий вкушает облатку, которая есть тело Христово.

34

Уолтер уходил рано утром, позавтракать забегал только на полчаса, а потом возвращался уже вечером, к обеду, так что Китти много бывала одна. Несколько дней она вообще не выходила из дому. Было очень жарко, и большую часть дня она проводила в шезлонге у открытого окна, пытаясь читать. Резкий дневной свет лишил волшебный дворец всякой таинственности, теперь это был просто храм, построенный на городской стене, кричаще яркий и облупленный, но оттого, что однажды она увидела его в таком неземном сиянии, он уже никогда не казался ей совсем обыденным; и нередко на заре или в сумерках, а порой и ночью ей удавалось снова уловить отблеск той красоты. То, что она приняла за неприступную крепость, было всего лишь городской стеной, и эта стена, массивная и темная, снова и снова притягивала ее взгляд. Там, за ее зубцами, лежал город, сжавшись от страха перед смертоносной эпидемией.

Кое-что об ужасах, творившихся там, она знала – не от Уолтера, тот отвечал на ее расспросы (сам он редко с ней заговаривал) с небрежной усмешкой, от которой ее бросало в дрожь, а от Уоддингтона и от своей служанки. Каждый день умирало около ста человек, почти никто из заболевших не выздоравливал; изображения богов вынесли из покинутых храмов и поставили на улицах; им приносили жертвы, но болезнь не внимала молитвам. Люди умирали так быстро, что их едва успевали хоронить. В некоторых домах вымирали целые семьи, и некому было совершать погребальные обряды. Начальник гарнизона был человек решительный и властный, и только благодаря ему город уберегся от грабежей и пожаров. Он заставлял солдат хоронить тех, у кого не осталось родственников, и своими руками застрелил офицера, не решавшегося войти в зараженный дом.

Китти бывало так страшно, что сердце заходило и ее трясло как в лихорадке. Пусть кто угодно уверяет, что риск невелик, если соблюдать осторожность, – она была в панике. В голове у нее рождались безумные планы бегства. Чтобы вырваться отсюда, она была готова бросить все и одна, в чем была, добираться до какого-нибудь безопасного места. Подумывала о том, чтобы отдаться на милость Уоддингтону, все ему рассказать и умолять помочь ей вернуться в Гонконг. Или броситься в ноги мужу, сказать, как ей страшно, – хоть он теперь ненавидит ее, он же все-таки человек, он должен над ней сжалиться.

Но нет, и думать нечего. Если даже она вырвется отсюда, куда ей себя девать? Не ехать же к матери – та не скроет, что, выдав ее замуж, считает себя свободной от дальнейших обязательств; да ей и не хочется ехать к матери. Ей хочется только к Чарли, а ему она не нужна. Ей известно, что он скажет, если она вдруг перед ним появится. Она не забыла его угрюмое лицо и холодный расчет за прелестной улыбкой. Нелегко ему будет найти для нее приемлемые слова. Она стискивала руки. Чего бы она не дала, чтобы унижить его так, как он ее унижил! Порой ее охватывала такая ярость, что она жалела, что не дала Уолтеру подать на развод – ну и погибла бы, но и его бы тоже погубила. Вспоминая некоторые его фразы, она от стыда краснела до корней волос.

35

В первый же раз, как они с Уоддингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Уоддингтон упоминал о нем в вечер их приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый ее мужа.

– Я о нем невысокого мнения, – сказал Уоддингтон, – мне он всегда казался ужасно скучным.

– На вас, наверно, трудно угодить, – возразила она тем светским шутивым тоном, который так легко ей давался. – Он ведь, кажется, самый популярный человек в Гонконге.

– Знаю. Это его козырь. Он возвел популярность в искусство. Умеет кому угодно внушить, что он для него самый нужный человек. Всегда готов оказать услугу, если ему это ничего не стоит, и, даже если не сделает того, о чем вы его просили, умудряется создать впечатление, что ваша просьба вообще невыполнима.

– А ведь это привлекательная черта.

– По-моему, обаяние как таковое в конце концов приедается. Хочется для разнообразия обратиться к человеку пусть не столь обходительному, но более искреннему. Чарли Таунсенда я знаю уже много лет и несколько раз видел его без маски – понимаете, я для него никто, какой-то таможенный чиновник, при мне нечего стесняться, – и я уверен, что ему наплевать на всех, кроме самого себя.

Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами и вертела на пальце обручальное кольцо, а он продолжал:

– Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его «ваше превосходительство» и вставать, когда он входит в комнату.

– Все считают, что это заслуженный успех, что у него выдающиеся способности.

– Способности? Какая чушь! Он очень недалекий человек. Впечатление такое, что со своей работой он справляется блестяще, шутя и играя. Ничего подобного. Он трудяга, старателен, как счетовод-евразиец.

– Почему же его считают таким талантливым?

– Дураков на свете много, и, когда человек, занимающий довольно-таки высокий пост, не задается, хлопает их по плечу и клянется, что сделает для них все на свете, им недолго и наделять его всеми талантами. Ну и потом, конечно, жена. Вот это действительно умница. Голова у нее работает, к ее совету всегда стоит прислушаться. Пока у Чарли Таунсенда есть такая опора в жизни, он может не бояться, что сядет в лужу, а, чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны: у способных появляются идеи, а это чревато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут впросак. О да, Чарли Таунсенду обеспечено будущее.

– Интересно, почему вы его не любите?

– Кто сказал, что я его не люблю?

– Но его жена вам нравится больше? – улыбнулась Китти.

– Я человек старого закала, люблю, когда женщина хорошо воспитана.

– Если бы вдобавок она хорошо одевалась...

– А она разве плохо одевается? Я не заметил.

– Я слышала, они отличная пара, – сказала Китти, наблюдая за ним сквозь ресницы.

– Он к ней очень привязан. Тут нужно отдать ему должное. Пожалуй, это самое ценное, что в нем есть.

– Маловато для похвального отзыва.

– Бывают у него интрижки на стороне, но это несерьезно. У него хватает ума не доводить их до такого этапа, когда это уже грозит ему неудобствами. И как мужчина он, конечно, не

способен на сильные чувства, он только тщеславен. Любит, чтобы им восхищались. Сейчас-то он немного раздобрел, слишком себя ублажает, а когда только приехал в колонию, был очень красив. Жена подтрунивает над его победами, я сам слышал.

– Она не принимает его интрижки близко к сердцу?

– О нет, она знает, что слишком далеко он не зайдет. Она говорит, что охотно дружила бы с теми бедняжками, которые пленяются Чарли, но очень уж они все неинтересные. По ее словам, для нее не бог весть как лестно, что ее мужем увлекаются сплошь посредственности.

36

Когда Уоддингтон ушел, Китти обдумала все, что он так неосторожно выболтал. Слушать это было не очень приятно, ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы не показать, как близко это ее касается. Горько было думать, что все сказанное им – чистая правда. Она знала, что Чарли недалек и тщеславен, что он жаждет до лести, она вспомнила, как самодовольно он рассказывал всякие случаи, долженствующие доказать, какой он умный и ловкий. Он гордится своей низкопробной хитростью. Какое же она ничтожество, если могла полюбить человека за... за то, что у него красивые глаза и хорошая фигура! Ей хотелось ощутить к нему презрение, потому что пока она его только ненавидела, она еще была слишком близка к любви и знала это. После того как он с ней обошелся, у нее должны были открыться глаза. Уолтер, тот всегда отзывался о нем презрительно. Ах, если б можно было выбросить его из головы! Значит, жена над ним подтрунивала, видя, что она, Китти, им увлечена? Дороти рада была бы с ней подружиться, но сочла ее слишком неинтересной? Китти невольно улыбнулась: как вознегодовала бы ее мать, узнав, что ее дочь считают посредственностью!

А ночью он опять ей снился. Она чувствовала его руки, крепко обнявшие ее, страстность его поцелуев. Что из того, что он немного раздобрел? Она ласково смеялась над его огорчениями, любила еще сильнее за его ребяческое тщеславие, рвалась пожалеть и утешить. Когда она проснулась, лицо ее было мокро от слез.

Она сама не знала, почему плакать во сне показалось ей такой трагедией.

37

С Уоддингтоном она виделась каждый день – покончив с работой, он всегда поднимался к их дому, и за какую-нибудь неделю они сблизились так, как при других обстоятельствах не сблизились бы и за год. Однажды, когда Китти сказала, что не знает, что бы она без него делала, он ответил, смеясь:

– Понимаете, только мы с вами и ходим спокойно и мирно по твердой земле. Монахини витают в раю, а ваш муж бродит во мраке.

Она отделалась легким смешком, однако задумалась над его словами. Она уже не раз замечала, что его веселые голубые глазки вглядываются в нее – дружелюбно, но очень уж внимательно. Она уже поняла, что он прозорлив, и ей казалось, что к ее отношениям с Уолтером он проявляет нездоровое любопытство. Морочить его было забавно. Он ей нравился, она знала, что и он относится к ней дружески. Он не блистал особенным остроумием, но умел выразить свою мысль язвительно и ехидно, так что слушать его было не скучно; а порой, когда его мальчишья рожица под лысым черепом кривилась веселой гримасой, слова его звучали просто уморительно. Он много лет провел на разных аванпостах империи, где часто бывал единственным европейцем, и никакие посторонние воздействия не влияли на свободное развитие его характера. Откровенность его была неотразима. Жизнь он словно бы не принимал всерьез, гонконгскую колонию высмеивал едко, но смеялся и над китайскими чиновниками в Мэй-дань-фу, и над холерой, опустошавшей город. Всякий рассказ о какой-нибудь трагедии или о подвиге в его устах звучал иронично. За двадцать лет, прожитых в Китае, у него накопилось множество анекдотов, из которых можно было заключить, что земной шар – весьма неуютное, фантастическое и смехотворное местожительство.

Он отрицал, что разбирается в китаистике (уверял, что все синологи – сумасшедшие), однако говорил по-китайски вполне свободно. Читал он мало, то, что знал, почерпнул из разговоров. Но он часто пересказывал Китти страницы из китайских романов или книг по истории Китая, и, хотя рассказы его сопровождались обычными для него шуточками, он вкладывал в них сочувствие и даже нежность. Ей казалось, что он, может быть бессознательно, проникся представлением китайцев, будто европейцы – варвары, а их жизнь – сплошное безумие; только в Китае жизнь устроена так, что разумный человек может усмотреть в ней что-то реальное. Тут было о чем подумать: до сих пор Китти слышала только, что китайцы – народ вырождающийся, грязный, отвратительный. Словно приподнялся на минутку уголок занавеса, и ей открылся мир, полный красок и значения, какой ей и во сне не снился.

А Уоддингтон все болтал, смеялся и пил.

– Вам не кажется, что вы слишком много пьете? – спросила Китти без обиняков.

– Это моя лучшая улада в жизни, – ответил он. – И от холеры предохраняет.

Уходил он от нее обычно пьяный. Во хмелю бывал весел, но не противен.

Как-то вечером Уолтер, вернувшись домой раньше обычного, предложил ему остаться у них пообедать. И тут произошел странный случай. Они съели суп, рыбу, а потом были цыплята, и бой подал Китти салат из свежей зелени.

– Боже правый, вы что, хотите это есть? – вскричал Уоддингтон, увидев, что Китти накладывает себе салат.

– Да, мы его каждый вечер едим.

– Моя жена его любит, – добавил Уолтер.

Салат поднесли Уоддингтону, но тот покачал головой.

– Благодарю, я пока еще не собираюсь кончать жизнь самоубийством.

Уолтер с угрюмой улыбкой последовал примеру Китти. Уоддингтон больше ничего не сказал, сразу помрачнел и вскоре после обеда откланялся.

А они и правда ели салат каждый вечер. На третий день после их приезда повар, фаталист, как все китайцы, приготовил его, и Китти, не подумав, взяла себе порцию. Уолтер быстро подался вперед.

– Не ешь салат. Зря бой его подал.

– Почему? – спросила Китти, глядя ему прямо в лицо.

– Это вообще опасно, а сейчас это безумие. Ты убьешь себя.

– А мне казалось, что так и было задумано, – сказала Китти.

Она преспокойно стала есть. Какая-то бесшабашная удаль овладела ею. Она с насмешкой поглядела на Уолтера. Он как будто побледнел, но, когда ему подали салат, тоже не отказался. Повар, убедившись, что блюдо понравилось, стал готовить его день за днем, и день за днем, с риском для жизни, они его ели. У Китти, панически боявшейся заразы, было такое чувство, словно она не только мстит Уолтеру, но и глумится над собственными страхами.

38

На следующий день Уоддингтон явился не поздно, посидел немного, а потом предложил Китти пойти погулять. Она с самого приезда не выходила за пределы участка и с радостью согласилась.

– Прогулок здесь, правда, мало, – сказал он, – но мы с вами поднимемся на вершину холма.

– Да-да, туда, где ворота. Я часто смотрю на них с веранды.

Один из боев отворил тяжелую калитку, и они вышли на пыльную улочку. Не прошли они и нескольких шагов, как Китти вцепилась Уоддингтону в рукав и вскрикнула:

– Ой, гляньте!

– В чем дело?

У стены, окружавшей участок, лежал на спине человек, ноги его были вытянуты, руки закинута за голову, судя по спутанной шевелюре и синим лохмотьям, это был нищий-китаец.

– Лежит как мертвый, – прошептала Китти.

– Он и есть мертвый. Пошли, вы лучше не смотрите в ту сторону. Когда мы вернемся, я распоряжусь, чтобы его убрали.

Но Китти так дрожала, что не могла сдвинуться с места.

– Я еще никогда не видела мертвеца.

– Значит, пора привыкать. В этом веселеньком местечке вы еще наглядитесь на них вволю.

Он взял ее руку и продел себе под локоть. Несколько минут они шли молча.

– Он умер от холеры?

– Скорее всего.

Они поднялись в гору к самым воротам. Ворота, покрытые замысловатой резьбой, высились над окружающей местностью как ориентир и иронический символ. Они сели у подножия одного из столбов, лицом к широкой равнине. Склон густо усеяли зеленые холмики мертвых, расположенные не рядами, а как попало, так что казалось, что под землей им неудобно и тесно. Узкая дорога вилась среди рисовых полей, исчезала вдаль. Маленький мальчик проехал домой, усевшись на шее у буйвола, три крестьянина в широкополых соломенных шляпах протрусили мимо, сгибаясь под тяжестью огромных тюков. После дневной жары лицо здесь приятно ласкал ветерок, и необозримый простор вливал в измученное сердце покой и грусть. Но Китти не могла забыть про мертвого нищего.

– Как вы можете болтать, смеяться и пить виски, когда вокруг вас все время умирают люди? – спросила она неожиданно.

Уоддингтон не ответил. Он повернулся, поглядел на нее и, положив руку ей на плечо, сказал очень серьезно:

– А знаете, здесь не место для белой женщины.

Она искоса взглянула на него из-под длинных ресниц, и на губах у нее мелькнула тень улыбки.

– Я бы сказала, что в таких условиях место жены – рядом с мужем.

– Когда я получил телеграмму, что Фейн едет с женой, я удивился. А потом подумал, что вы, может быть, работали медицинской сестрой и это для вас обычное дело. Я ожидал, что вы окажетесь одной из тех мегер, что тиранят вас, стоит только угодить в больницу. Я просто глазам не поверил, когда вошел в ваш дом и вижу – вы там сидите и отдыхаете, такая хрупкая, бледная, усталая.

– Вряд ли я могла выглядеть здоровой и бодрой после девяти дней в дороге.

– У вас и сейчас вид хрупкий, бледный, усталый и, уж не посетуйте на меня, бесконечно несчастный.

Китти вспыхнула, но заставила себя рассмеяться.

– Мне очень жаль, что выражение моего лица вам не нравится. А вид у меня может быть несчастный только потому, что мне с двенадцати лет внушали, что у меня слишком длинный нос. Но лелеять тайное горе – это очень выигрышная поза, вы представить себе не можете, сколько очаровательных молодых людей пытались меня утешить.

Ярко-голубые глаза Уоддингтона были обращены на нее, и она поняла, что он не поверил ни единому ее слову. Ну и пусть, лишь бы делал вид, что верит.

– Я знал, что вы замужем еще не так давно, и решил, что вы с мужем безумно влюблены друг в друга. Что он звал вас с собой – в это я не мог поверить, но, может быть, вы сами наотрез отказались отпустить его без себя.

– Это очень правдоподобная версия, – уронила она.

– Да, но неправильная.

Она ждала продолжения, опасаясь того, что еще он может сказать – в его прозорливости она уже убедилась, знала, что высказывать свои мнения он не стесняется, – но сильно было и желание, чтобы он говорил о ней.

– Я не допускаю и мысли, что вы любите мужа. По-моему, он вам антипатичен. Очень возможно, что вы его ненавидите. В чем я уверен, так это что вы его боитесь.

Она отвернулась. Не собирается она показать Уоддингтону, что его слова могут больно задеть ее.

– Сдается мне, что мой муж вам не очень нравится, – съязвила она.

– Я его уважаю. Он умен и с характером, а это, поверьте, весьма необычное сочетание. Чем он здесь занят, вы, вероятно, не знаете, ведь он, как я подозреваю, не склонен посвящать вас в свои дела. Если возможно, чтобы один человек положил конец этой злосчастной эпидемии, он это сделает. Он лечит больных, наводит в городе чистоту, пытается обеззараживать питьевую воду. По двадцать раз в день рискует жизнью. Полковника Ю он так прибрал к рукам, что тот предоставил ему солдат в полное распоряжение. Он даже городского голову взбодрил, и старик пытается кое-что предпринимать. А монахини в нем души не чают, для них он герой.

– А для вас нет?

– Строго говоря, ведь это не его работа. Он бактериолог. Никто не заставлял его сюда ехать. И не кажется мне, что им движет сострадание ко всем этим умирающим китайцам. Уотсон был не такой. Тот любил людей. Хоть он и был миссионером, для него и христиане, и буддисты, и конфуцианцы были просто люди. Ваш муж не потому здесь находится, что его беспокоит, как это сто тысяч китайцев умрут от холеры, и не потому, что хотел послужить науке. Почему он здесь?

– Вы его спросите.

– Мне интересно видеть вас вместе. Иногда я гадаю, как вы ведете себя наедине. При мне вы играете комедию, и очень плохо играете, черт подери. Если это лучшее, на что вы способны, ни вам, ни ему и тридцати шиллингов в неделю не положат в гастрольной поездке.

– Не пойму, о чем вы, – улыбнулась Китти, хотя уже знала, что ее показная фривольность его не обманывает.

– Вы красивая женщина. Странно, что муж никогда на вас не смотрит. Когда он к вам обращается, у него и голос становится чужой.

– Вы думаете, он меня не любит? – спросила она тихо и хрипло, вдруг отбросив легкомысленный тон.

– Не знаю. То ли вы ему так противны, что он не может к вам подойти без содрогания, то ли он сохнет от любви, которую по каким-то причинам считает нужным скрывать. Я уж спрашивал себя, не в порядке ли самоубийства вы оба сюда приехали.

Китти еще во время эпизода с салатом заметила, как удивился Уоддингтон и как испытующе потом оглядел их.

– По-моему, вы придаете слишком большое значение нескольким листикам латука, – пошутила она и тут же встала. – Пошли домой? Вы наверняка соскучились по стаканчику виски с содовой.

– Вы-то, во всяком случае, не героиня. Вы напуганы до смерти. Вы уверены, что не хотите отсюда уехать?

– А вам какое дело?

– Я бы вам помог.

– Неужели выражение тайного горя, написанное на моем лице, и вас покорило? Взгляните на мой профиль, нос-то длинноват.

Он задумчиво поглядел на нее, и в его ярких глазах светилась лукавая насмешка, но рядом с ней, как тень, как отражение дерева в реке, у которой оно растет, была удивительная доброта. У Китти даже слезы на глаза навернулись.

– Вы не можете уехать?

– Не могу.

Они прошли под раскрашенными воротами и спустились с холма. Подходя к дому, опять увидели труп нищего. Уоддингтон взял ее под руку, но она высвободилась. Остановилась.

– Ужасно, правда?

– Что именно? Смерть?

– Да, все остальное кажется таким мелким, пошлым. Он и на человека не похож. Смотришь на него, и не верится, что когда-то был живой. А ведь еще не так давно он мальчонкой носился по холмам, запуская змея.

Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться.

39

Несколько дней спустя Уоддингтон, сидя у Китти и потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре.

– Тамошняя аббатиса – весьма примечательная женщина, – сказал он. – Сестры мне рассказывали, что она принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции, но к какому – не говорят. Она, видите ли, не хочет, чтобы это стало известно.

– Что же вы ее не спросите, если это вас интересует? – улыбнулась Китти.

– Знали бы вы ее, вы бы поняли, что ей просто невозможно задавать нескромные вопросы.

– Уж наверно, она примечательная, если даже вас держит в страхе Божиим.

– У меня к вам от нее поручение. Она просила вас передать, что хотя вы, вполне возможно, и не отважитесь сунуться в самый очаг эпидемии, но, если вы не против, ей доставило бы большое удовольствие показать вам монастырь.

– Очень любезно с ее стороны. Я и понятия не имела, что она знает о моем существовании.

– Я говорил ей о вас. Я туда заглядываю раза два в неделю узнать, не требуется ли моя помощь. Ну и муж ваш, вероятно, рассказывал им о вас. Вы должны быть готовы к тому, что они вами безмерно восхищаются.

– Вы католик?

Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха.

– Ну что вы ухмыляетесь?

– «Из Назарета может ли быть что доброе?»⁷ Нет, я не католик. Я причисляю себя к англиканской церкви. Это, пожалуй, самая безобидная формула, когда хочешь сказать, что, в сущности, ни во что не веруешь. Десять лет назад, когда аббатиса сюда приехала, она привезла с собой семерых монахинь, сейчас из них осталось в живых только три. Понимаете, Мэй-даньфу даже в лучшие времена не курорт. Они живут в самом центре города, в самом бедном квартале, тяжело работают и никогда не отдыхают.

– Значит, их теперь только три, не считая аббатисы?

– О нет, кое-кто прибавился. Сейчас их там шесть. Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии, тогда на ее место приехали из Кантона еще две.

Китти поежилась.

– Вам холодно?

– Нет, просто кто-то прошел по моей могиле.

– Когда они уезжают из Франции, то уезжают навсегда. Это протестантские миссионеры время от времени на год отбывают в отпуск. Я всегда думаю, что это и есть самое трудное. Мы, англичане, не так крепко привязаны к земле, мы в любом уголке земного шара чувствуем себя как дома, а французов связывают с родиной прямо-таки физические узы. Вдали от родины они не могут жить полной жизнью. Это, мне кажется, самая серьезная из жертв, на которые идут эти женщины. Будь я католиком, это, наверно, казалось бы мне в порядке вещей.

Китти бросила на него критический взгляд. Волнение, с каким он говорил, было ей не совсем понятно: может быть, это поза, а может, виной выпитое виски?

Он тут же разгадал ее мысль и улыбнулся.

– Побывайте там, убедитесь сами. Это не так рискованно, как есть сырые помидоры.

– Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться.

– Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции.

⁷ Евангелие от Иоанна, 1:46.

40

Через реку они переправились в сампане. На пристани Китти ждал паланкин, в котором ее и внесли в гору, к «водяным» воротам. Через эти ворота кули ходили к реке за водой, и теперь они сновали вверх и вниз с огромными ведрами на коромыслах, расплескивая воду на дорогу, мокрую, как после сильного дождя. Носильщики паланкина резкими криками сгоняли их на обочины.

– В городе вся жизнь приостановилась, – сказал Уоддингтон, шагая рядом с паланкином. – В обычное время тут не протолкаться, столько кули бегают с грузами к реке и обратно.

Улица, в которую они вступили, была узкая, кривая, и Китти сразу перестала соображать, в какую сторону она ведет. Многие лавки стояли закрытые. По пути от парохода она привыкла к неряшливому виду китайских улиц, но здесь за много недель скопились целые горы отбросов и мусора, и пахло так невыносимо, что она зажала нос платком. Проезжая через китайские города, она стеснялась любопытства зевак, теперь же заметила, что ее удостаивают только равнодушными взглядами. Редкие прохожие спешили по своим делам, глядя прямо перед собой, запуганные, апатичные. Временами из какого-нибудь дома доносились удары гонга и пронзительные жалобы каких-то неведомых музыкальных инструментов. За этими закрытыми дверями лежал покойник.

– Приехали, – сказал наконец Уоддингтон.

Паланкин опустили перед узкой, осененной крестом дверью в длинной белой стене, и Китти сошла на землю. Уоддингтон позвонил.

– Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая.

Дверь отворила молоденькая китайка и, выслушав Уоддингтона, провела их в небольшую комнату, выходящую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щечками и веселыми глазами. Уоддингтон, знакомя с ней Китти, назвал ее сестра Сен-Жозеф.

– *C'est la dame du docteur?*⁸ – спросила она, широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет.

Сестра Сен-Жозеф не говорила по-английски, а Китти лишь кое-как изъяснялась по-французски; зато Уоддингтон бегло, хоть и с ошибками, болтал и шутил без умолку, и добродушная монахиня так и заходилась от смеха. Эта смешливость удивила Китти: ей представлялось, что монахини неизменно торжественны и серьезны, и детская веселость сестры Сен-Жозеф растрогала ее.

⁸ Это жена нашего доктора? (фр.)

41

Дверь отворилась – Китти почудилось, что произошло это само собой, без постороннего вмешательства, – и вошла настоятельница. Секунду она стояла на пороге, и снисходительная улыбка тронула ее губы, когда она взглянула на смеющуюся монахиню и сморщенную плутоватую физиономию Уоддингтона. Потом она с протянутой рукой подошла к Китти.

– Миссис Фейн? – Она чуть заметно поклонилась. По-английски она говорила правильно, но с сильным акцентом. – Это для меня большое удовольствие – познакомиться с женой нашего доброго, храброго доктора.

Китти чувствовала на себе ее оценивающий взгляд, долгий и откровенный, до того откровенный, что не казался невежливым. Словно эта женщина считала своим долгом о каждом составить себе собственное мнение и у нее даже мысли не возникало о необходимости притворяться. Степенно и учтиво она предложила гостям садиться и села сама. Сестра Сен-Жозеф, все еще улыбающаяся, но присмирившая, осталась стоять чуть позади настоятельницы.

– Я знаю, вы, англичане, любите чай, сейчас его подадут. Но должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Уоддингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить.

– Полноте, *ma mère*, вы говорите так, как будто я завзятый алкоголик.

– Хорошо бы вы могли сказать, что вы вообще не пьете, мистер Уоддингтон.

– Во всяком случае, я не могу сказать, что пью умеренно.

Она засмеялась и перевела его непочтительное замечание на французский для сестры Сен-Жозеф, а на него поглядела с нескрываемой лаской.

– К мистеру Уоддингтону мы не должны быть слишком строги. Он столько раз выручал нас, когда мы оказывались совсем без денег и не знали, как накормить наших сирот.

Молоденькая китаянка, та, что открыла им дверь, вошла с подносом, на котором стояли китайские чашки, чайник и тарелка с бисквитным печеньем под названием «мадлен».

– Попробуйте «мадлен», – сказала настоятельница, – сестра Сен-Жозеф испекла их сегодня специально для вас.

Они заговорили о всякой всячине. Настоятельница спросила у Китти, давно ли она в Китае, очень ли утомила ее дорога из Гонконга. Спросила, бывала ли она во Франции и как переносит гонконгский климат. Разговор шел дружеский, но самый обыденный, однако окружающая обстановка придавала ему особенную остроту. В комнате было тихо, не верилось, что находишься в гуще большого города. Здесь царил покой. А за стенами свирепствовала эпидемия, и горожан, со страху потерявших голову, удерживала от эксцессов только сильная воля человека, который и сам был наполовину бандит. Лазарет в монастырской ограде был полон больных и умирающих солдат, в сиротском приюте, которым ведали монахини, четвертая часть детей погибла.

Китти, как-то невольно притихнув, поглядывала на знатную даму, что так любезно занимала ее разговором. Она была в белом, белизну ее одеяния нарушал только красный крест на груди. Среднего возраста, лет сорок – пятьдесят, точнее сказать трудно, бледное лицо почти без морщин, а впечатление, что она уже не молода, создавала главным образом ее величавая осанка, уверенная манера и худоба ее сильных красивых рук. Лицо удлиненное, с большим ртом и крупными ровными зубами, нос изящный, хотя и не маленький; но напряженное, трагическое выражение придавали всему лицу глаза под тонкими черными бровями. Глаза очень большие, черные, не то чтобы холодные – спокойно-внимательные, гипнотизирующие. При виде ее сразу думалось, как хороша она, должно быть, была в молодости, но потом становилось ясно, что она из тех женщин, чья красота с годами проступает все явственнее. Голос у нее был низкий, звучный, хорошо поставленный, и говорила она медленно как по-английски, так и по-

французски. Но самым поразительным в ней была властность, смягченная милосердием; чувствовалось, что она привыкла повелевать и послушание принимает как должное, но со смирением. Она как бы сознательно опиралась на авторитет церкви. И все же Китти догадывалась, что к человеческим слабостям она может отнестись по-человечески терпимо, а стоило увидеть улыбку, с какой она слушала неумную болтовню Уоддингтона, чтобы с уверенностью сказать, что она не лишена живого чувства юмора.

Однако было еще в ней и нечто такое, что Китти чувствовала, но не могла назвать. Нечто такое, что, несмотря на ее сердечный тон, держало собеседника на расстоянии.

42

– Monsieur ne mange rien⁹, – сказала сестра Сен-Жозеф.

– У мосье вкус испорчен маньчжурской кухней, – отозвалась настоятельница.

Сестра Сен-Жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Уоддингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами.

– Чтобы доказать, как вы несправедливы, та мёге, я авансом загуюблю превосходный обед, который меня ожидает.

– Если миссис Фейн хочет осмотреть монастырь, я буду рада все ей показать. – Настоятельница обратилась к Китти с виноватой улыбкой: – Жаль, что вы увидите его сейчас, когда у нас такой беспорядок. Работы так много, а сестер не хватает. Полковник Ю пожелал, чтобы наш лазарет мы предоставили больным солдатам, так что лазарет для наших сирот пришлось перевести в трапезную.

В дверях она пропустила Китти вперед, и они, в сопровождении сестры Сен-Жозеф и Уоддингтона, пустились в путь по прохладным белым коридорам. Сначала они зашли в большую голую комнату, где группа девочек-китаянок прилежно занималась вышиванием. При виде гостей девочки встали, и настоятельница показала Китти образцы их рукоделия.

– Мы продолжаем эти занятия, несмотря на эпидемию, так у них остается меньше времени думать об опасности.

В другой комнате девочки помоложе учились простому шитью – подрубали, сметывали; в третьей помещались самые младшие: малыши от двух до четырех лет. Они шумно возились на полу, а завидев настоятельница, сбежались к ней, черноглазые, черноволосые, хватали ее за руки, зарывались лицом в ее широкие юбки. Чудесная улыбка озарила ее лицо, она гладила их по голове, произносила какие-то слова, в которых Китти, и не зная китайского, уловила нежную ласку. Китти брезгливо передернулась – в этих детишках, одинаково одетых, желтокожих, чахлах, с приплюснутыми носами, не было ничего человеческого. Они вызывали отвращение. А настоятельница стояла среди них как воплощенное Милосердие. Заметив, что она собралась уходить, они вцепились в нее и не отпускали, так что ей пришлось, все так же улыбаясь и приговаривая, высвободиться силой. Эти-то крохи, во всяком случае, не видели в знатной даме ничего устрашающего.

– Вам, вероятно, известно, – сказала она, когда они опять очутились в коридоре, – что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Мы даем им несколько медяков за каждого ребенка, которого они сюда приводят, иначе они бы и трудиться не стали, а просто приканчивали бы их. – Она обратилась к сестре: – Сегодня новенькие есть?

– Четверо.

– Сейчас, с этой холерой, они больше, чем когда-либо, озабочены тем, чтобы не обременять себя лишними девочками.

Она показала Китти спальни, потом они оказались перед дверью с надписью «Лазарет». Китти услышала стоны, громкие крики, словно жалобы бессловесных тварей.

– Лазарет я вам не покажу, – сказала настоятельница невозмутимо. – Это зрелище не из приятных. – Она вдруг словно что-то вспомнила. – Доктор Фейн сейчас здесь?

В ответ на ее вопросительный взгляд монахиня, весело улыбаясь, отворила дверь и проскользнула в лазарет. Китти отшатнулась – при открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра Сен-Жозеф вернулась к ним.

– Нет, он был раньше и обещал еще заглянуть.

– А как номер шесть?

⁹ Мосье ничего не ест (*фр.*).

– Умер, pauvre garçon¹⁰.

Настоятельница перекрестилась, и губы ее зашевелились в безмолвной молитве.

Они пересекли внутренний дворик, там Китти увидела два длинных предмета, лежащие на земле и прикрытые синим полотнищем. Настоятельница обратилась к Уоддингтону:

– У нас такая нехватка кроватей, что приходится класть их по двое на одну. А как только кто-нибудь умирает, его выносят из помещения, чтобы освободить место для следующего. – Потом улыбнулась гостье. – Теперь мы вам покажем капеллу. Это наша гордость. Один из наших друзей во Франции недавно прислал нам статую Пресвятой Девы в натуральную величину.

¹⁰ Бедняжка (фр.).

43

Капеллой звалась попросту длинная низкая комната с выбеленными стенами и рядами деревянных скамей; в глубине был алтарь, и там стояла статуя, гипсовая, грубо раскрашенная, очень яркая, новая, кричащая. Позади нее картина маслом – распятие и обе Марии у подножия креста, в позах непомерной скорби. Рисунок беспомощный, темные краски выбраны живописцем, слепым к красоте цвета. По стенам шли изображения крестного пути, размалеванные той же незадачливой рукой. Капелла была некрасивая, вульгарная.

Войдя, монахини преклонили колени и сотворили молитву, а поднявшись, настоятельница опять заговорила с Китти:

– Когда сюда что-нибудь везут, все, что может разбиться, разбивается, а статуя, которую подарил нам наш благодетель, доехала из Парижа целехонькая. Это, безусловно, было чудо.

У Уоддингтона лукаво блеснули глаза, но он придержал язык.

– Запрестольный образ и путь на Голгофу написала одна из наших сестер, сестра Сент-Ансельм. – Настоятельница перекрестилась. – Она была подлинная художница. К несчастью, ее унесла эпидемия. Очень красиво это выполнено, правда?

Китти пробормотала что-то в знак согласия. На алтаре лежали букеты бумажных цветов, подсвечники были до ужаса вычурны.

– Нам разрешено хранить здесь святые дары.

– Да что вы! – сказала Китти, ничего не поняв.

– В такое трудное время это для нас большое подспорье.

Они вышли из капеллы и повернули обратно, к той приемной, где сидели вначале.

– Хотите перед уходом посмотреть на тех крошек, которых нам принесли сегодня?

– Очень хочу, – сказала Китти.

Настоятельница отворила дверь в маленькую комнату через коридор. На столе под покрывалом шло какое-то шевеление. Сестра Сен-Жозеф откинула покрывало, и взору их предстали четыре крошечных голых младенца. Они были очень красные и делали беспомощные движения ручками и ножками, на их китайских мордашках застыли смешные гримаски. В них было мало человеческого – какие-то зверюшки неизвестной породы, – но было и что-то трогательное. Настоятельница смотрела на них и улыбалась.

– Эти как будто здоровенькие. Иногда их приносят сюда только умирать. Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения.

– Наш доктор будет ими доволен, – сказала сестра Сен-Жозеф. – Он, кажется, может часами играть с этими крошками. Чуть заплачут, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости.

И вот Китти и Уоддингтон очутились у входной двери, Китти от души попросила у настоятельницы прощения, что доставила ей столько хлопот. Та поклонилась любезно, но с большим достоинством.

– Я была очень рада. Вы не представляете себе, как много мы обязаны вашему мужу. Нам его Бог послал. Так хорошо, что вы с ним приехали. Какое это для него утешение, когда он вечером приходит домой, а там его ждет ваша любовь и ваше... ваше милое лицо. Вы заботьтесь о нем получше, не давайте переутомляться. Берегите его ради всех нас.

Китти покраснела и не нашла, что ответить. Настоятельница пожала ей руку, и она опять почувствовала на себе спокойный, задумчивый взгляд, отрешенный и все же исполненный глубокого понимания.

Сестра Сен-Жозеф затворила за ними дверь, и Китти села в паланкин. Они пустились в обратный путь по узким извилистым улицам. Уоддингтон что-то сказал, Китти не ответила. Он

оглянулся, но шторы у паланкина были задернуты, и он ее не увидел. Дальше он шел молча. Но когда они спустились к реке и Китти вышла, он с удивлением увидел, что глаза ее полны слез.

– Что случилось? – спросил он, и лицо его озабоченно сморщилось.

Китти попыталась улыбнуться.

– Так, ничего. Глупости.

44

Снова оставшись одна в неуютной гостиной умершего миссионера, лежа в шезлонге у окна и устремив взгляд на храм за рекой (сейчас, в наступающих сумерках, он опять казался сказочным и прекрасным), Китти пыталась разобраться в своих впечатлениях. Никогда бы она не подумала, что посещение монастыря так ее взволнует. Привело ее туда любопытство. Делать ей было нечего, и, насмотревшись на обнесенный стеною город на том берегу, она была не прочь хоть одним глазком взглянуть на его таинственные улицы.

Но стоило ей переступить порог монастыря, как она словно перенеслась в другой мир, существующий вне времени и пространства. В этих аскетически строгих голых комнатах и белых коридорах словно веяло чем-то далеким, мистическим. Маленькая капелла, некрасивая и вульгарная, умиляла самой своей безвкусицей; там было что-то, чего не хватает пышным соборам с их витражами и картинами великих мастеров: она была очень смиренна, и вера, украсившая ее, любовь, которая ее лелеяла, наделили ее неуловимой красотой души. Методичность, с какой монахини продолжали свою работу вопреки эпидемии, доказывала их хладнокровие перед лицом опасности и здравую деловитость, почти парадоксальную, но вызывающую глубокое уважение. Мысленно Китти все еще слышала жуткие звуки, донесшиеся до нее, когда сестра Сен-Жозеф на минуту открыла дверь в лазарет.

Поразило ее и то, как они говорили про Уолтера – сначала монахиня, а потом и сама настоятельница, как тепло звучал ее голос, когда она его хвалила. Странно, Китти даже ощутила прилив гордости, узнав, как высоко они его ценят. Уоддингтон тоже говорил ей, что Уолтер творит чудеса; но монашенки превозносили не только его деловые способности (что он хороший работник, она знала еще в Гонконге), они называли его заботливым, нежным. Да, он может быть очень нежен, думала она. Лучше всего проявляет себя, когда заболеешь. Он не раздражает разговорами, касается тебя удивительно бережно, успокаивающе. От одного его присутствия становится легче. Она знала, что никогда уже ей не прочесть в его глазах той нежности, что в прошлом была привычной и только злила. Она знала, каким огромным запасом любви он наделен; теперь он, видно, изливает эту любовь на несчастных, которым больше не от кого ждать помощи. Она не ощущала ревности, только пустоту – словно у нее внезапно отняли опору, к которой она так привыкла, что перестала ее замечать, и вот теперь шатается из стороны в сторону, как будто потеряла центр тяжести.

К себе она чувствовала только презрение за то, что когда-то презирала Уолтера. Он не мог не знать, как она к нему относилась, и принял ее оценку, не озлобившись. Она была дурой, и он это знал, и, пока он любил ее, это его не смущало. Теперь у нее нет к нему ненависти и нет обиды, а скорее растерянность и страх. Нельзя не признать за ним замечательных достоинств, иногда она даже видела в нем какое-то странное, непривлекательное величие духа. Почему же тогда она не могла его полюбить, а продолжает любить человека, чье ничтожество теперь для нее несомненно? Она столько передумала за эти долгие дни, что наконец поняла, что такое Чарлз Таунсенд. Пошляк, посредственность. Если б только вырвать из сердца любовь, которая все еще там гнездится! Если б забыть о нем!

Уоддингтон тоже высокого мнения об Уолтере. Только она, Китти, не разглядела его достоинств. Почему? Потому что он любил ее, а она его не любила. Что это за выверт человеческого сердца – презирать человека за то, что он тебя любит. А вот Уоддингтон признался, что недолюбливает Уолтера. Как и другие мужчины. Эти две монашенки чуть не влюблены в него, сразу видно. С женщинами он и держится иначе; несмотря на его застенчивость, в нем угадывается чудесная доброта.

45

Но самое сильное впечатление произвели на нее именно монахини. Сестра Сен-Жозеф, ее веселые глаза и щечки-яблочки... она была одной из тех немногих, что приехали в Китай вместе с настоятельницей десять лет назад; на ее глазах ее товарки одна за другой умирали от болезней, лишений и тоски по родине, а она не поддавалась ни унынию, ни страху. Откуда в ней эта прелестная простодушная веселость? А настоятельница... Китти вспомнила, как стояла с ней рядом, и опять ощутила смиренную робость и стыд. Держится так просто, естественно, но ее врожденный аристократизм внушает благоговение, невозможно даже вообразить, что кто-нибудь может обойтись с ней непочтительно. Для сестры Сен-Жозеф ее власть непререкаема, это сказывается и в ее позе и жестах, и в том, как она отвечает на вопросы; и Уоддингтон, нахал и насмешник, явно перед нею робеет. Китти подумалось, что ей могли и не говорить, что настоятельница принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции: вся ее повадка свидетельствует о родовитости, ее властность – черта женщины, даже не допускающей мысли, что ее могут послушаться. В ней сочетается милостивая снисходительность владельницы замка и смирение святой. В ее сильном, красивом, исхудалом лице строгость мученицы, и в то же время от нее исходит ласковая заботливость, и маленькие дети льнут к ней без стеснения и страха, уверенные, что она их не обидит. Когда она смотрела на четверых новорожденных, улыбка ее была печальна, но прелестна – как луч солнца на дикой, безлюдной пустоши. Слова, которые сестра Сен-Жозеф мимоходом сказала про Уолтера, тоже взволновали Китти; она знала, что он страстно желал иметь от нее ребенка, но никак не ожидала, что он, такой сдержанный, способен без всякого смущения, весело и ласково возиться с маленькими детьми. Ведь обычно мужчины ведут себя с детьми беспомощно и глупо. Станный он человек!

Но на этом волнующем переживании лежала какая-то непонятная тень (нет, видно, добра без худа!). В спокойной веселости сестры Сен-Жозеф, а тем более в безупречной учтивости настоятельницы она чувствовала гнетущую отчужденность. Они были приветливы, даже сердечны, но что-то держали про себя, тем давая ей почувствовать, что она для них – посторонний человек, всего лишь случайная знакомая. Между ними и ею стояла преграда. Они говорили на другом языке, не только вслух, но и в мыслях. И она догадывалась, что, как только за нею закрылась дверь, они поспешили вернуться к прерванной работе и начисто забыли о ней, словно ее и на свете не было. Она чувствовала, что ей заказан вход не только в этот нищий монастырь, но и в некий таинственный сад, о котором тоскует ее душа. Она вдруг ощутила такое одиночество, какого не знала доселе. Потому она тогда и заплакала.

И теперь, устало откинувшись в кресле, она вздыхала:

– Какое же я ничтожество!

46

В тот вечер Уолтер вернулся домой пораньше обычного. Китти лежала в шезлонге у окна. В комнате уже почти стемнело.

– Тебе не нужна лампа? – спросил он.

– Принесут, когда обед поспеет.

Говорил он с ней, как всегда, о пустяках, как с хорошей знакомой, ничто в его манере не позволяло заподозрить, что он таит в душе злобу. Он никогда не смотрел ей в глаза и никогда не улыбался. Но был неукоснительно вежлив.

– Уолтер, – спросила она, – что ты намерен делать, если мы не умрем от холеры?

Он ответил не сразу, лицо его было в тени.

– Я об этом не думал.

В прежние времена она говорила все, что придет в голову, не обдумывая вперед, что скажет; теперь она его боялась. Губы у нее дрожали, сердце билось.

– Я сегодня была в монастыре.

– Слышал.

Она заставила себя продолжать:

– Ты, когда увез меня сюда, правда хотел, чтобы я умерла?

– Стоит ли ворошить прошлое, Китти. Бессмысленно, мне кажется, говорить о том, о чем лучше забыть.

– Но ты не забыл, и я тоже. Я очень много думаю с тех пор, как приехала сюда. Ты не хочешь меня выслушать?

– Нет, отчего же.

– Я очень плохо с тобой поступила. Я тебе изменяла.

Он весь застыл. Его неподвижность пугала.

– Не знаю, поймешь ли ты меня. Для женщины, когда такое кончается, оно уже не имеет большого значения. Мне кажется, женщина даже не может понять позицию, которую занимают мужчины. – Она говорила отрывисто, не узнавая собственного голоса. – Ты знал, что представляешь собой Чарли, и знал, как он поступит. Что ж, ты оказался совершенно прав. Он ничтожество. Наверно, я бы им не увлеклась, если бы сама не была таким же ничтожеством. Я не прошу у тебя прощения. Не прошу полюбить, как любил когда-то. Но неужели мы не можем быть друзьями? Когда вокруг нас люди умирают тысячами, и эти монахини...

– А они тут при чем? – перебил он.

– Я не могу объяснить. Когда я там сегодня была, у меня появилось такое странное чувство. Все это полно значения. Кругом столько ужасов, их самопожертвование просто поразительно. Пойми меня правильно, мне кажется, что нелепо, несообразно терзаться оттого, что какая-то глупая женщина тебе изменила. Стоит ли вообще думать о такой пустышке.

Он не ответил, но и не отодвинулся от нее; он словно ждал, что еще она скажет.

– Мистер Уоддингтон и монашенки мне много чего рассказали про тебя. Я горжусь тобой, Уолтер.

– Раньше-то не гордилась, раньше ты меня презирала. Это что же, прошло?

– Разве ты не чувствуешь, что я тебя боюсь?

Он опять помолчал, прежде чем ответить.

– Не понимаю я тебя. Чего тебе, собственно, нужно?

– Для себя – ничего. Я только хочу, чтобы тебе стало полегче.

Он опять застыл, и голос его прозвучал очень холодно.

– Напрасно ты думаешь, что мне тяжело. Я так занят, что мне некогда особенно о себе беспокоиться.

– Я тут думала, может быть, монахини разрешат мне поработать у них. Они с ног сбиваются, я была бы рада принести хоть какую-нибудь пользу.

– Работа там нелегкая и не из приятных. Сомневаюсь, чтобы этого развлечения тебе хватило надолго.

– Ты до такой степени меня презираешь, Уолтер?

– Нет. – Он запнулся, голос его прозвучал странно. – Я презираю себя.

Они отобедали. Уолтер, как обычно, сидел у лампы и читал. Он читал каждый вечер, пока Китти не уходила спать, а потом шел в лабораторию, под которую приспособил одну из пустующих комнат, и работал там до поздней ночи. Спал он очень мало. Был занят какими-то экспериментами. Ей он ничего об этом не рассказывал – он и в прежние дни не посвящал ее в свою работу, по натуре был необщителен. Сейчас она обдумывала его слова. Их разговор кончился ничем. Она так плохо его знала, что даже не могла решить, правду он говорил или нет. Неужели сейчас, когда его существование для нее так бесспорно и страшно, она вообще перестала для него существовать? Когда-то он с удовольствием слушал ее болтовню, потому что любил ее; что, если теперь, когда он ее разлюбил, слушать ее ему просто скучно? Обидно это до слез.

Она посмотрела на него. В свете лампы его профиль был обрисован четко, как камей. Черты правильные, красивые, но все лицо – мало что строгое, почти злое. До ужаса неподвижное, только глаза передвигаются вниз по странице... Кто бы поверил, что это каменное лицо так преображается в минуты страсти? Она-то знала, каким нежным оно может быть, и это ей претило. Поразительно, что она так и не смогла его полюбить, притом что он не только красив, но честен, надежен, талантлив. Хорошо хоть, что ей больше никогда не придется терпеть его ласки.

Он не пожелал ответить, когда она спросила, действительно ли он вынудил ее сюда приехать, чтобы убить ее. Ведь он очень добрый, как мог у него зародиться такой дьявольский умысел? Скорее всего он только хотел ее припугнуть и расквитаться с Чарли (в это можно поверить, зная его саркастический склад ума), а потом из упрямства или из боязни показаться смешным решил довести свою затею до конца.

Да, он сказал, что презирает себя. Как это понять? Китти снова бросила взгляд на его спокойное, сосредоточенное лицо. О ней он забыл, точно ее здесь и нет.

– За что ты себя презираешь? – спросила она, не сознавая, что говорит вслух, как бы продолжая только что прерванный разговор.

Он отложил книгу и задумчиво посмотрел на нее. Казалось, он возвращается мыслями откуда-то очень издалека.

– За то, что любил тебя.

Она вспыхнула и отвернулась, не в силах вынести его холодный, оценивающий взгляд. Теперь она его поняла. И заговорила не сразу.

– Мне кажется, ты ко мне несправедлив, – сказала она. – Нельзя осуждать меня за то, что я была глупенькая, легкомысленная, пустая. Такой меня воспитали. Все мои подруги были такие... Это все равно что упрекать человека, лишенного слуха, в том, что он скучает на симфоническом концерте. Разве справедливо осуждать меня за то, что ты приписывал мне достоинства, которых у меня не было? Я не пыталась ввести тебя в заблуждение, притвориться не тем, что есть. Просто была хорошенькая и веселая. На ярмарке человек не пытается купить жемчуг и соболье мантию, а покупает жестяную дудку и воздушные шарики.

– Я тебя не осуждаю.

Голос был усталый. В ней закипала досада. Как он не может понять то, что для нее стало так ясно, понять, до чего мелки их личные дела по сравнению со смертельной опасностью, которая над ними нависла, и с той высокой красотой, которая ей приоткрылась сегодня? Что с того, если какая-то дурочка изменила мужу, и стоит ли мужу обращать на это внимание? Странно, что у Уолтера при его уме нет чувства соразмерности. Оттого, что он нарядил куклу в роскошный костюм и поклонялся ей как богине, а потом убедился, что кукла-то набита опилками, он теперь не может простить ни ее, ни себя. Душа у него изранена. Он долго жил сказ-

кой, которую сам выдумал, а когда жизнь разрушила сказку, решил, что рухнула жизнь. Вот уж правда: он потому ее не прощает, что не может простить себя.

Ей показалось, что он тихо вздохнул, и она вскинула на него глаза. Странная мысль пришла ей в голову, так неожиданно, что она чуть не вскрикнула.

Может быть, у него... как это говорится... разбито сердце?

48

Весь следующий день Китти думала о монастыре, а еще через день рано утром, вскоре после ухода Уолтера, взяв с собой служанку, чтобы послать за паланкинами, переправилась через реку. Солнце только что взошло, и китайцы, заполнившие паром, – крестьяне в синих ситцевых рубашках и почтенные горожане в черном – наводили на мысль о душах умерших, которых перевозят через реку в царство теней. А ступив на берег, они еще постояли на пристани, словно не зная, куда двинуться, и лишь потом по двое, по трое стали медленно подниматься в гору.

Улицы в этот час были безлюдны, так что город более чем когда-либо казался городом мертвых. Редкие прохожие выступали из утренней дымки неясно, как призраки. Небо было безоблачное; первые лучи солнца лили на землю ласковый свет; в это прохладное, погожее, радостное утро трудно было вообразить, что город задыхается в безжалостных когтях болезни, как человек, которого душит маньяк-убийца. Не верилось, что природа (эта небесная лазурь, ясная, как сердце ребенка) так равнодушно взирает на то, что люди корчатся в муках и умирают во власти страха. Когда паланкин опустили у дверей монастыря, нищий, лежавший на земле, поднялся и протянул руку за подаванием. На нем были выцветшие бесформенные лохмотья, словно подобранные на свалке, в прорехах проглядывала кожа, жесткая, шершавая, выдубленная, как козлиная шкура; босые ноги поражали худобой, голова с шапкой грязно-серых волос (запавшие глаза, блуждающий взгляд) была головой юродивого. Китти в испуге отшатнулась, носильщики стали грубо его отгонять, и, чтобы отделаться от него, Китти пришлось дать ему пару медяков.

Дверь отворилась, служанка объяснила, что Китти хотелось бы видеть настоятельницу. Ее провели в уже знакомую душную приемную, где, казалось, никогда не открывали окна, и там она просидела так долго, что уже думала, о ней забыли доложить. Наконец настоятельница появилась.

– Простите, что заставила вас ждать, – сказала она. – Меня не предупредили о вашем приходе, и я была занята.

– Это мне надо просить у вас прощения за беспокойство. Я, кажется, пришла в неподходящее время.

Настоятельница с ласковой улыбкой предложила ей стул. Но Китти заметила, что глаза у нее заплаканные. Китти изумилась: у нее осталось впечатление, что к земным горестям эта женщина относится спокойно.

– У вас, наверно, что-нибудь случилось, – промолвила она смущенно. – Мне лучше уйти? Я могу прийти в другой раз.

– Нет-нет. Скажите мне, чем я могу быть вам полезна. Дело в том... дело в том, что вчера вечером скончалась одна из наших сестер. – Голос ее сорвался, глаза наполнились слезами. – Скорбеть о ней грешно, я знаю, что ее простая, добрая душа отлетела к Богу, она была святая женщина; но не всегда легко побороть свою слабость. Боюсь, и я бываю неразумна.

– Мне так жаль, – сказала Китти, – так ужасно жаль... – и всхлипнула от искреннего сочувствия.

– Она была из тех, что приехали со мной из Франции десять лет тому назад. Теперь нас осталось только трое. Я помню, мы сбились кучкой на конце парохода (как это сказать, на носу?), и когда пароход выходил из марсельского порта и мы увидели золотую статую на церкви Святой Марии Милостивой, мы все вместе прочитали молитву. С тех самых пор, как я приняла постриг, я мечтала, что мне разрешат поехать в Китай, но, когда земля стала удаляться, я не удержалась и заплакала. Не очень-то хороший пример я тогда подала моим дочерям, ведь я

была их духовной матерью. А сестра Сен-Франсис Ксавье – та, что вчера скончалась, – взяла меня за руку и стала утешать. Где бы мы ни были, сказала она, там и Франция, там и Бог.

Ее строгое прекрасное лицо исказилось от простого человеческого горя и от усилия сдерживать слезы, противные ее рассудку и ее вере. Китти отвернулась. Она почувствовала, что наблюдать за этой борьбой непристойно.

– Я написала ее отцу. Она, как и я, была единственной дочерью. Они рыбаки, живут в Бретани. Для них это будет тяжелый удар. Ох, когда же кончится эта ужасная эпидемия? Сегодня утром у нас заболели две девочки. Спасти их может только чудо. У этих китайцев нет никакой сопротивляемости. Утрата сестры Сен-Франсис для нас очень чувствительна. Работы так много, а нас теперь осталось еще меньше. Наши сестры есть в других монастырях в Китае, они бы приехали с радостью; я думаю, любая монахиня нашего ордена отдала бы все на свете, чтобы сюда приехать (правда, отдавать-то им нечего). Но это почти верная смерть, и, пока мы хоть как-то справляемся, мне бы не хотелось множить жертвы.

– Вы облегчили мне дело, *ma mère*, – сказала Китти. – А то я уж думала, что явилась сюда в самую неудачную минуту. В тот раз вы сказали, что сестрам трудно управляться с работой, и я хотела спросить, нельзя ли мне приходить сюда и помогать им. Что делать – мне все равно, лишь бы приносить пользу. Заставьте меня мыть полы, я и то скажу спасибо.

Настоятельница улыбнулась веселой улыбкой, и Китти подивилась, как легко эта гибкая натура поддается новым настроениям.

– Полы вам мыть не нужно. Это, плохо ли, хорошо ли, делают сиротки. – Она примолкла и ласково оглядела Китти. – Милое мое дитя, вы не думаете, что сделали достаточно, приехав сюда с мужем? Не у многих жен хватило бы на это мужества, да и может ли для вас быть занятие лучше, чем веселить и ублажать его, когда он возвращается к вам после рабочего дня? Поверьте мне, ему тогда нужна вся ваша любовь и забота.

Китти трудно было выдержать ее взгляд, строго-оценивающий и в то же время насмешливо-ласковый.

– Мне решительно нечего делать с утра до вечера. А когда у всех столько работы, бездельничать просто невыносимо. Я не хочу вам надоедать, я знаю, что не могу посягать ни на вашу доброту, ни на ваше время, но говорю я вполне серьезно, и, право же, вы окажете мне благодеяние, если позволите хоть немножко вам помогать.

– На вид вы не особенно крепкая. Третьего дня, когда вы были у нас, мне показалось, что вы очень бледненькая. Сестра Сен-Жозеф даже подумала, что вы, может быть, ждете ребенка.

– Нет-нет! – воскликнула Китти и покраснела до корней волос. Настоятельница рассмеялась негромким серебристым смехом. – Тут нечего стыдиться, дитя мое, и ничего невероятного в этом предположении нет. Вы сколько времени замужем?

– Бледная я всегда, но я очень здоровая и, уверяю вас, не боюсь никакой работы.

Настоятельница тем временем совсем овладела собой. Она бессознательно приняла свой обычный властный вид и смотрела на Китти спокойно, словно оценивая ее возможности. Китти ждала и нервничала.

– Вы по-китайски говорите?

– К сожалению, нет.

– Вот это жаль. Я бы могла приставить вас к старшим девочкам. С ними сейчас особенно трудно, боюсь, как бы они не... не отбились от рук? – закончила она на вопросительной ноте.

– А за больными я не могла бы ухаживать? Я совсем не боюсь холеры. Могла бы ходить либо за девочками, либо за солдатами.

Настоятельница, уже без улыбки, раздумчиво покачала головой.

– Вы не знаете, что такое холера. Зрелище это страшное. В лазарете санитары работают солдаты, сестра только надзирает за ними. А что касается девочек... нет-нет, я уверена, что ваш муж не одобрил бы этого. Это тяжелая, пугающая картина.

– Я бы привыкла.

– Нет, это исключено. Мы все это делаем, потому что в этом наш долг и наше призвание, но для вас это вовсе не обязательно.

– Выходит, я ни на что не гожусь и ничего не умею. Не могу я поверить, что меня совсем нельзя использовать.

– Вы мужу говорили о вашем желании?

– Да.

Настоятельница поглядела на нее так, словно хотела проникнуть в самую глубину ее сердца, но при виде встревоженного, умоляющего лица Китти опять улыбнулась.

– Вы, конечно, протестантка? – спросила она.

– Да.

– Это ничего. Доктор Уотсон, миссионер, который умер, тоже был протестант, ну и что же? Он относился к нам как нельзя лучше. Мы ему очень, очень благодарны.

Теперь улыбка мелькнула на губах Китти, но она промолчала. Настоятельница, видимо, что-то обдумывала. И вот она встала с места.

– Вы очень добры. Думаю, что я подберу вам занятие. Теперь, когда сестра Сен-Франсис нас покинула, мы действительно не должны отказываться от помощи. Когда вы могли бы приступить к работе?

– Хоть сейчас.

– Вот и хорошо. Я довольна вашим ответом.

– Обещаю вам, я буду очень стараться. Спасибо, что разрешаете мне попробовать.

Настоятельница отворила дверь в коридор, но на пороге задержалась. Еще раз окинула Китти долгим пронизательным взглядом, потом мягко коснулась ее руки.

– Не забывайте, дитя мое, душевный покой можно обрести не в работе или в удовольствиях, не в миру или в монастыре, а только в своем сердце.

Китти вздрогнула, но настоятельница уже вышла из комнаты.

Окунувшись в работу, Китти воспрянула духом. Она отправлялась в монастырь каждое утро вскоре после восхода солнца, а домой возвращалась, когда солнце, клонясь к закату, уже заливало узкую реку и скопище джонок жидким золотом. Настоятельница поручила ей группу младших девочек. Мать Китти привезла в Лондон из своего родного Ливерпуля бесспорные хозяйственные способности, и Китти, несмотря на свой легкомысленный образ жизни, отчасти их унаследовала, хотя упоминала об этом только в шутку. Она была неплохой кулинаркой и прекрасно шила. Когда обнаружился этот ее талант, ей поручили обучать шитью младшую группу девочек. Они кое-что понимали по-французски, а она каждый день узнавала от них по нескольку китайских слов, так что общаться им было нетрудно. Другие часы она проводила с самыми маленькими, одевала и раздевала их, укладывала поспать. Грудные младенцы были на попечении няни-китаянки, но Китти попросили присматривать и за ней. Вся эта работа была не такая уж важная, и Китти хотелось делать что-нибудь потруднее, но настоятельница не внимала ее мольбам, а Китти относилась к ней с таким почтением, что перестала настаивать.

Первые несколько дней она лишь с усилием преодолевала легкое отвращение, которое вызывали в ней эти девчушки, все одинаково одетые, с торчащими черными волосами, круглыми желтыми лицами и глазами-смородинами. Но она вспоминала, как в день ее первого посещения чудесно преобразилось лицо настоятельницы, когда ее обступили эти уродцы, и старалась побороть это чувство. И постепенно, когда она брала на руки кого-нибудь из этих плачущих крошек – эта упала и расшиблась, у той режется зуб – и раз за разом убеждалась, что несколько ласковых слов, пусть и произнесенных на непонятном для них языке, прикосновение ее рук, ее мягкая щека, к которой прижималась плачущая желтая рожица, способны успокоить и утешить, неприятное чувство совсем пропадало. Малышки безбоязненно тянулись к ней со своими младенческими горестями, и их доверие наполняло ее счастьем. То же было и с девочками постарше, теми, которых она учила шить; ее трогали их широкие, понимающие улыбки и радость, которую им доставляли ее похвалы. Она чувствовала, что они ее любят, и, польщенная, гордая, сама проникалась к ним любовью.

Но к одной из девочек она никак не могла привыкнуть. Это была шестилетняя кретинка с огромной тяжелой головой на худеньком теле, большими пустыми глазами и слюнявым ртом, говорить она не умела, только хрипло бормотала отдельные слова. Она внушала гадливость и страх, и почему-то именно она особенно привязалась к Китти, ходила за ней по пятам, в какой бы конец комнаты она ни направилась, цеплялась за ее юбку, терлась лицом о ее колени. Пыталась гладить ей руки. Китти мутило от отвращения. Она понимала, что девочка жаждет ласки, но не могла заставить себя до нее дотронуться.

Однажды в разговоре с сестрой Сен-Жозеф она высказала мнение, что такому ребенку лучше не жить. Сестра Сен-Жозеф улыбнулась и протянула кретинке руку, а та подошла и ткнула в эту руку своим выпуклым лбом.

– Бедняжка, – сказала монахиня. – Ее доставили сюда еле живую. Волею providения я как раз в это время оказалась у дверей. Я увидела, что нельзя терять ни минуты, и тут же ее окрестила. Вы не поверите, сколько труда мы положили на то, чтобы сохранить ей жизнь. Три или четыре раза мы уже были готовы к тому, что ее душа вот-вот упорхнет на небо.

Китти молчала. Сестра Сен-Жозеф, как всегда словоохотливая, стала судачить о чем-то другом. А на следующий день, когда девочка подошла к Китти и тронула за руку, Китти заставила себя положить руку на ее большую безволосую голову. Но девочка, с непоследовательностью помешанной, вдруг убежала, словно потеряв к ней всякий интерес, и ни в тот день, ни в последующие дни не обращала на нее внимания. Китти не могла понять, чем она ей не

угодила, пыталась приманить ее улыбками и жестами, но та отворачивалась и притворялась, что не видит ее.

50

Монахини были заняты каждая своим делом с утра и до позднего вечера, так что Китти почти не встречалась с ними, кроме как на богослужениях в смиренной голой капелле. Увидев ее там в первый же день – она сидела на задней скамье позади старших девочек, – настоятельница остановилась и заговорила с ней:

– Вы не думайте, что вам положено бывать в капелле вместе с нами. Вы протестантка, у вас свои порядки.

– Но мне тут нравится, та мёге. Для меня это отдых.

Настоятельница степенно склонила голову.

– Ну конечно, поступайте согласно своему желанию. Я только хотела вам объяснить, что никто вас не принуждает.

А с сестрой Сен-Жозеф у Китти скоро завязались если не близкие, то, во всяком случае, более простые отношения. Она ведала монастырским хозяйством, и заботы о материальном благополучии этой большой семьи не оставляли ей ни минуты, чтобы посидеть спокойно. Она сама говорила, что единственный ее отдых – это время, посвященное молитве. Но ближе к вечеру, когда Китти занималась с девочками, ей случалось к ним заглянуть и, поклявшись для начала, что она совсем вымоталась и у нее нет ни минуты свободной, посидеть и посудачить. Когда настоятельницы не было поблизости, она давала волю своей говорливости, любила пошутить и была не прочь посплетничать. Ее-то Китти не боялась: сестра Сен-Жозеф и в монашеской одежде была добродушной, уютной болтушкой, при ней Китти не стеснялась делать ошибки во французском языке, они вместе смеялись ее промахам. От нее Китти тоже узнала много нужных китайских слов. Она была дочкой фермера и в душе оставалась крестьянкой.

– В детстве я пасла коров, как Жанна д'Арк, – рассказывала она. – Но явлений мне, при моем дурном поведении, не бывало. Оно, наверно, и к лучшему, а то отец непременно бы меня выдрал. Он, царство ему небесное, и так часто меня порол, ведь я была ох какая озорница. Вспомнить совестно, каких только шалостей не выдумывала.

Китти рассмеялась, представив себе, что эта толстая, немолодая монахиня была когда-то своенравным ребенком. Но что-то детское было в ней до сих пор и привлекало к ней сердце; от нее словно исходил сладкий запах деревни в осеннюю пору, когда ветки яблонь гнутся под тяжестью спелых яблок, а хлеб сжат и убран в закрома. В ней, в отличие от настоятельницы, не было строгой, трагической святости, а была простая, безмятежная веселость.

– И вас никогда не тянет домой? – спросила однажды Китти.

– О нет. Вернуться было бы трудно. Мне тут хорошо, особенно с нашими сиротками. Они такие славные, такие благодарные. Но монашка-то я монашка, а все же у меня есть мать, и разве забудешь, что она меня своей грудью выкормила! Мать у меня старая, тяжело думать, что я ее уж никогда больше не увижу. Но и то сказать, снохой своей она довольна, и брат мой ее уважает. У него уже подрастает сынок, хороший работник на ферме пригодится. Когда я уезжала из Франции, он был совсем еще маленький, но и тогда кулачок у него был ого какой сильный.

В этой тихой комнате, слушая неторопливые речи монахини, почти невозможно было поверить, что за стенами свирепствует холера. Безмятежность сестры Сен-Жозеф передавалась и Китти.

Она по-детски наивно интересовалась внешним миром и его обитателями. Расспрашивала Китти про Лондон, про Англию, воображая, что туман там такой густой – даже днем собственной руки не видно; она спрашивала Китти, ездит ли она на балы, очень ли богатый дом у ее родителей, есть ли у нее братья и сестры. Часто говорила об Уолтере. Мать-настоятельница

им не нахвалится, все они каждый день молятся за него Богу. Счастливица Китти, что муж у нее такой добрый, и храбрый, и умный.

51

Но рано или поздно сестра Сен-Жозеф в своих рассказах неизменно возвращалась к настоятельнице. Китти с самого начала поняла, что личность этой женщины подчинила себе весь монастырь. Все его обитатели взирали на нее с любовью и восхищением, но также и с почтительным страхом. Китти и та чувствовала себя перед нею школьницей. Держаться с ней свободно мешало чувство, которое нельзя было назвать иначе как благоговением. Простодушная сестра Сен-Жозеф для вящей внушительности рассказала Китти, к какому знатному семейству принадлежит настоятельница. Среди ее предков есть исторические личности, она состоит в родстве чуть не со всеми европейскими монархами. Альфонс Испанский охотился в угодьях ее отца, и по всей Франции у них есть фамильные замки. Трудно было, наверно, расстаться со всем этим великолепием. Китти слушала и улыбалась, но рассказы эти производили на нее впечатление.

– Да на нее стоит только посмотреть, – сказала сестра Сен-Жозеф, – сразу видно, что знатнее ее и на свете нет.

– У нее удивительно красивые руки, – сказала Китти.

– А вы бы знали, как мало она их жалеет. Она никакой работой не гнушается.

Когда они прибыли в этот город, здесь ничего не было. Они построили монастырь. Настоятельница сама нарисовала план и надзидала за работами. С первого же дня они стали спасать бедненьких, никому не нужных девочек от «башни» и от жестоких рук повивальных бабок. Вначале у них ни кроватей не было, ни стекла, чтобы отгородиться от ночного холода (ведь ночной холод – самое вредное для здоровья, добавила сестра Сен-Жозеф); временами у них не оставалось денег не только платить рабочим, но и на еду для себя; они жили, как простые крестьяне, да что там, во Франции крестьяне, вот хоть батраки ее отца, бросали бы такую пищу свиньям. Тогда настоятельница созывала своих дочерей, они преклоняли колени и молились, и Пресвятая Дева присылала им денег. То назавтра придет тысяча франков по почте, то какой-нибудь незнакомец, англичанин (подумать только – протестант!) или даже китаец, постучит в дверь в ту самую минуту и принесет пожертвование. А один раз они дошли до того, что дали Богородице обет посвятить ей *neuvaine*¹¹, если она их выручит, и, поверите ли, на следующий день явился этот забавный мистер Уоддингтон, сказал, что вид у нас такой, будто мы не отказались бы от ростбифа, и подарил нам сто долларов.

Вот уж правда забавный он человек, голова лысая, глаза хитрющие, а уж эти его шуточки... *Mon Dieu*¹², как же он калечит французский язык! Но сердиться на него невозможно. Никогда не унывает. И эпидемия ему нипочем, веселится как на празднике. Сердце у него французское и язык острый, прямо не поверить, что англичанин. Вот только акцент. Но иногда думается, что он говорит так плохо нарочно, чтобы посмешить. Нравственностью он особой не отличается, это да, но, в конце концов, это его личное дело, – тут она, вздохнув и кивнув, пожала плечами, – он ведь холостяк, молодой мужчина.

– А чем плоха его нравственность? – спросила Китти с улыбкой.

– Да неужто вы не знаете? Грех мне про это говорить, ну да что уж там. Он живет с китаянкой, то есть не то чтобы с китаянкой, а с маньчжуркой. Она, говорят, принцесса и любит его до безумия.

– Не может быть! – воскликнула Китти.

– А вот и может, я вам правду говорю. Это большой грех, Бог этого не велит. Вы разве не слышали, когда первый раз сюда приходили, он не хотел есть «мадлен», которые я нарочно

¹¹ Девять дней молитвы (фр.).

¹² Боже мой (фр.).

для него испекла, а мать-настоятельница сказала, что он испортил себе желудок маньчжурской кухней? Она тогда на это самое намекала, он еще такую рожу скорчил. А история эта очень даже интересная. Он, говорят, работал в Ханькоу во время революции, когда там маньчжурцев резали, и по доброте своей спас жизнь нескольким членам одного из их знатных семейств. Они в родстве с императорской фамилией. И девушка эта в него влюбилась, ну а дальше сами можете догадаться. А когда он уехал из Ханькоу, она сбежала из дому и последовала за ним, и так с тех пор и ездит за ним повсюду, так что он, бедный, смирился и содержит ее и очень, говорят, к ней привязан. Эти маньчжурки, они бывают очень милостивые... Но что же это я, меня дела ждут, а я тут с вами рассиделась. Хороша монахиня. Стыд, да и только.

52

У Китти появилось странное ощущение, будто она взрослеет. Постоянная работа отвлекала ее мысли, то, что она узнавала о жизни и взглядах других людей, будило воображение. Она приободрилась и чувствовала себя лучше. Ей долго казалось, что она способна только плакать; теперь же она, к своему удивлению и даже стыду, то и дело ловила себя на том, что смеется. Жить посреди страшной эпидемии стало казаться вполне естественным. Она знала, что вокруг люди умирают сотнями, но почти перестала об этом думать. Настоятельница запретила ей ходить в лазареты, и эти закрытые двери возбуждали ее любопытство. Ей очень хотелось туда заглянуть, но она, конечно, попалась бы кому-нибудь на глаза, и тогда неизвестно, какому наказанию подвергнет ее настоятельница. Вдруг ее прогонят, это было бы ужасно. Она так привязалась к детям, они будут по ней скучать, они вообще не смогут жить без нее.

А однажды она вдруг подумала, что уже неделю как не вспоминала Чарлза Таунсенда и не видела его во сне. Сердце громко стукнуло в груди – она исцелилась! Теперь она может думать о нем равнодушно. Она его больше не любит. О, какое это облегчение – чувствовать, что ты свободна! Даже странно оглянуться назад, вспомнить, как страстно она по нему тосковала. Узнав о его вероломстве, она думала, что умрет, не ждала от жизни ничего, кроме страданий. А вот она, оказывается, уже может смеяться. Ничтожество. Какой же она была дурой! Теперь, успокоившись, она не могла понять, что она в нем нашла. Хорошо, что Уоддингтон ничего не знает, трудно было бы сносить его лукавые взгляды и иронические намеки. Наконец-то она свободна, свободна! Она чуть не расхохоталась от счастья.

Девочки в это время затеяли веселую возню; обычно она смотрела на них, снисходительно улыбаясь, умирала, когда они слишком шумели, следила, чтобы не ушиблись и не поранились. Но сегодня она сама почувствовала себя ребенком и вступила в игру. Девочки приняли ее с восторгом. Они гонялись за ней по всей комнате, пронзительно крича от непонятной, почти дикарской радости. От возбуждения они прыгали и топали ногами. Шум стоял оглушительный.

И вдруг отворилась дверь и на пороге выросла настоятельница. Китти страшно сконфузилась и с трудом высвободилась из десятка вцепившихся в нее маленьких рук.

– Так-то вы стараетесь, чтобы дети вели себя тихо? – спросила настоятельница с улыбкой.

– Мы играли, ма тёме. Они разволновались. Это я виновата. Я их взбудоражила.

Настоятельница вошла в комнату, и дети, как всегда, окружили ее. Она обнимала их за узенькие плечи, теребила их желтые ушки. Посмотрела на Китти долгим ласковым взглядом. Китти покраснела, часто дышала. Ее влажные глаза сияли, чудесные волосы растрепались.

– Как вы прелестны, дитя мое, – сказала настоятельница. – Сердце радуется, на вас глядя. Немудрено, что дети вас обожают.

Китти покраснела еще гуще, и почему-то слезы брызнули у нее из глаз. Она закрыла лицо руками.

– О, ма тёме, мне стыдно.

– Полно, какие глупости. Красота тоже дар Божий, один из редчайших и драгоценнейших. Мы должны быть благодарны, если удостоились его, а если нет, должны быть благодарны, что другие удостоились его, нам на радость.

Она опять улыбнулась Китти и тоже, как ребенка, легонько потрепала ее по щеке.

53

С тех пор как Китти начала работать, она реже виделась с Уоддингтоном. Два-три раза он встречал ее у перевоза, и они вместе поднимались к ее дому. Он заходил, выпивал стаканчик, но обедать не оставался. И вот однажды под воскресенье он предложил ей завтра захватить с собой закуску и отправиться в паланкинах в буддийский монастырь. Монастырь этот находился в десяти милях от города и когда-то славился как место паломничества. Настоятельница, полагая, что Китти хоть раз в неделю нужно отдыхать, не велела ей приходить по воскресеньям, а Уолтер, конечно, и в воскресные дни работал с утра до ночи.

Чтобы прибыть на место до большой жары, они пустились в путь очень рано по узкой дороге меж рисовых полей. Миновали несколько крепких крестьянских домов, приютившихся в бамбуковых рощах. Китти наслаждалась бездельем. Хорошо было после заточения в душном городе видеть вокруг деревенское раздолье. Они добрались до монастыря – низких построек, разбросанных по берегу реки в тени деревьев, – и улыбающиеся монахи повели их дворами, торжественно пустынными, и показали храмы, где кривлялись диковинные боги. В святилище восседал Будда, отрешенный, печальный, с чуть заметной улыбкой на губах. На всем лежала печать запустения; великолепия было дешевое, обветшалое; боги запылились, вера, породившая их, умирала. Монахи словно доживали здесь последние дни, готовые к тому, что их вот-вот попросят очистить помещение, а в улыбке благостно учтивого настоятеля таилась ироническая покорность судьбе. Скоро, скоро монахи покинут эти тенистые кущи, и заброшенные здания начнут разрушаться от зимних бурь и под натиском вступающей в свои права природы. Ползучие растения обовьют умершие статуи, во дворах вырастут деревья. И обитать здесь будут уже не боги, а злые духи тьмы.

54

Они сидели на ступеньках маленькой пагоды (четыре лакированных столбика и высокая крыша, осеняющая бронзовый колокол) и смотрели на реку, как она лениво, по бесконечным излучинам уходила к зараженному городу. Отсюда были видны его зубчатые стены. Зной навис над ним, как погребальный покров. Но река, хоть и текла так медленно, все же была в движении, и от этого возникало грустное чувство быстротечности жизни. Все проходит, и если оставляет после себя след, то какой? Китти казалось, что все они, все люди на земле, подобны каплям воды в этой реке, что безымянный поток всех влечет к морю. Когда все так преходяще и ничтожно, стоит ли людям, раздувая мелочи до размеров важных событий, так терзать себя и других?

– Вы Харрингтон-Гарденз знаете? – спросила она Уоддингтона, задумчиво улыбаясь.

– Нет, а что?

– Да ничего, просто это очень далеко отсюда. Там живут мои родители.

– А вы подумываете об отъезде домой?

– Нет.

– Отсюда вы, надо полагать, сниметесь месяца через два. Эпидемия как будто пошла на убыль, а станет холоднее, так и совсем прекратится.

– Мне, пожалуй, будет жалко отсюда уезжать.

Она задумалась о будущем. Какие у Уолтера планы, она не знала. С нею он не делился. Был холоден, вежлив, молчалив, непроницаем. Две капли в реке, бесшумно текущей в неизвестность, такие неповторимые друг для друга, а на посторонний глаз не различимые в общем потоке.

– Смотрите, как бы монахини не обратили вас в свою веру, – сказал Уоддингтон со своей лукавой усмешкой.

– Им некогда этим заниматься. Да это для них и не важно. Они бесконечно добры, вообще это удивительные женщины. А все-таки... не умею я это объяснить... нас разделяет стена. Не знаю, в чем тут дело. Как будто им известен секрет, который и есть для них самое важное, а я недостойна к нему приобщиться. Это не вера, а что-то более глубокое и значительное. Они пребывают в своем мире, а нам туда доступа нет и не будет. Каждый день, когда за мной закрывается дверь монастыря, я чувствую, что перестала для них существовать.

– Ну понятно, для вашего тщеславия это чувствительный афронт, – поддразнил он.

– Тщеславия? – Китти пожала плечами. Потом с ленивой улыбкой обратилась к нему: – Почему вы мне никогда не рассказывали, что живете с маньчжурской принцессой?

– Чего еще эти старые сплетницы вам наболтали? Для монахинь это же смертный грех – обсуждать частную жизнь таможенных чиновников.

– Почему вы так болезненно это воспринимаете?

Уоддингтон скосил глаза вниз, словно придумывая ответ похитрее, а потом слегка пожал плечами.

– Афишировать тут нечего. Навряд ли это способствовало бы моему продвижению по службе.

– Вы ее очень любите?

Он поднял голову, теперь на его некрасивом лице было выражение как у провинившегося школьника.

– Она ради меня бросила все – дом, семью, обеспеченное положение. Уже много лет как от всего отказалась, лишь бы не расставаться со мной. Я несколько раз прогонял ее, а она возвращалась. И сам от нее сбегал, а она меня опять настигала. А теперь я махнул рукой – придется, видно, терпеть ее до конца дней.

– Она, наверно, любит вас до безумия.

– Странное это ощущение, – отозвался он, растерянно морща лоб. – Я ни минуты не сомневаюсь, что, если б я решительно ее отставил, она покончила бы с собой. Не от обиды на меня, а совершенно естественно, потому что жить без меня не захотела бы. Очень странно сознавать это. От такого не отмахнешься.

– Но главное ведь – любить, а не быть любимым. К тем, кто тебя любит, даже благодарности не чувствуешь, с ними бывает только скучно.

– Как во множественном числе – не знаю. По опыту могу говорить только о единственном.

– И она в самом деле принцесса и в родстве с императорской фамилией?

– Нет, это уж романтические фантазии монахинь. Она из очень знатной семьи, но в революцию они, конечно, разорились. Впрочем, она все же очень знатная леди.

Он произнес это с гордостью, так что Китти невольно улыбнулась.

– Значит, вы останетесь здесь на всю жизнь?

– В Китае? Да. Что ей делать в другой стране? Когда уйду в отставку, куплю в Пекине китайский домик и буду доживать там свои дни.

– А дети у вас есть?

– Нет.

Она с интересом на него посмотрела. Очень странно, что этот лысый человечек с обезьяньей мордочкой мог внушить чужестранке такую испепеляющую страсть. Говорил он о ней небрежно, не слишком уважительно, и все-таки безраздельное чувство этой женщины производило сильное впечатление, задевало какую-то струну.

– Да, далеко отсюда до Харрингтон-Гарденз, – улыбнулась она.

– Почему вы это сказали?

– Ничего я не понимаю. Жизнь вообще непонятна. Я чувствую себя так, будто всегда жила на берегу прудочка, а мне вдруг показали море. Даже дух захватывает, но совсем не страшно. Я не хочу умирать, я хочу жить. Я чувствую в себе какое-то новое мужество. Как старый моряк пускается под парусом на поиски новых неведомых морей, так, наверно, и моя душа стремится все изведать.

Уоддингтон задумчиво поглядел на нее. Ее взгляд застыл на далекой глади реки. Две капли, что тихо, бесшумно движутся к вечному морю.

– Можно мне навестить маньчжурскую леди? – вдруг спросила она, подняв голову.

– Она ни слова не говорит по-английски.

– Вы были ко мне очень добры, вы много для меня сделали, может быть, я и без слов сумела бы ей выразить, как хорошо к ней отношусь.

Уоддингтон усмехнулся чуть язвительно, однако ответил вполне дружелюбно:

– Я как-нибудь зайду за вами, и она угостит вас жасминовым чаем.

Китти не стала говорить ему, что эта повесть о чужеземной любви с самого начала поразила ее воображение, и теперь маньчжурская принцесса сделалась для нее символом чего-то, что смутно, но неотступно манило ее, как загадочный перст, указующий на мистическую обитель духа.

55

Но несколько дней спустя Китти сделала совсем уже неожиданное открытие.

С утра, придя в монастырь, она, как всегда, первым делом пошла проследить, чтобы детей как следует умыли и одели. Поскольку монахини твердо держались мнения, что ночной воздух вреден для здоровья, атмосфера в спальнях была несвежая, спертая. После утренней прохлады Китти особенно это чувствовала и спешила открыть те из окон, которые вообще открывались. Но в этот день ей прямо-таки стало дурно, закружилась голова, и она остановилась у окна, чтобы немного прийти в себя. Так плохо ей еще никогда не бывало. Тошнота подступила к горлу, ее вырвало. Она вскрикнула, перепугала детей, к ней подбежала старшая девочка, помогавшая ей, и, увидев, что она изменилась в лице и вся дрожит, в страхе застыла на месте. Холера! Мысль эта пронеслась у Китти в мозгу, и ей показалось, что она умирает. Ее охватил ужас. Минуту она еще мучительно боролась с темной силой, словно разлившейся по жилам, а потом провалилась во мрак.

Открыв глаза, она не сразу поняла, где находится. Словно бы она лежала на полу, а когда пошевелила головой, почувствовала под головой подушку. Она ничего не помнила. Рядом с ней стояла на коленях настоятельница, подносила к ее носу нюхательную соль, и тут же маячила сестра Сен-Жозеф. Потом сразу вспомнилось все. Холера! На лицах монахинь написан ужас. Сестра Сен-Жозеф стала огромная, контуры ее расплылись. Китти снова ощутила смертельный страх.

– О, та мёге, – простонала она, – я умру? Я не хочу умирать.

– С чего вы это взяли?

Настоятельница была совершенно спокойна, а глаза даже веселые.

– Но это холера! Где Уолтер? За ним послали? О Господи!

И она разрыдалась. Настоятельница протянула ей руку, и Китти ухватилась за эту руку, словно то была сама жизнь, которую она так боялась упустить.

– Полно, полно, дитя мое, будьте благоразумны. Никакая это не холера.

– Где Уолтер?

– Ваш муж занят, и незачем его зря беспокоить. Через пять минут вы будете совершенно здоровы.

Китти ответила ей изумленным, непонимающим взглядом. Почему она не волнуется? Это жестоко.

– Полежите еще немножко, – сказала настоятельница. – А тревожиться не о чем.

У Китти бешено заколотилось сердце. Она так свыклась с мыслью о холере, что уже перестала было бояться за себя. Какая же она была дура! Вот она и умирает. Девочки внесли в комнату низкое плетеное кресло и поставили у окна.

– Давайте-ка мы вас поднимем, – сказала настоятельница. – В шезлонге вам будет удобнее. На ногах вы стоите?

Она подхватила Китти под мышки, сестра Сен-Жозеф помогла ей встать. Она без сил опустилась в кресло.

– Я лучше закрою окно, – сказала сестра Сен-Жозеф. – Ну как утренний воздух ей повредит.

– Нет-нет, – взмолилась Китти. – Пожалуйста, не закрывайте.

Хорошо было увидеть синее небо. Ее еще трясло, но ей безусловно стало лучше.

Обе монахини смотрели на нее, потом сестра Сен-Жозеф сказала настоятельнице что-то, чего Китти не разобрала. Потом настоятельница села с ней рядом и взяла ее за руку.

– Послушайте, дитя мое...

Она задала ей кой-какие вопросы. Китти отвечала, не понимая их смысла. Губы у нее дрожали и не слушались.

– И сомневаться нечего, – сказала сестра Сен-Жозеф. – Меня в этих делах не обманешь.

Она залилась смехом, в котором Китти слышалось и радостное волнение, и участие. Настоятельница, все еще держа Китти за руку, улыбнулась с нескрываемой нежностью.

– Сестра Сен-Жозеф разбирается в этом лучше меня, дитя мое, она сразу определила, что с вами такое. И очевидно, не ошиблась.

– А что со мной? – встрепелась Китти.

– Все ясно как день. Неужели такая возможность не приходила вам в голову? Вы беременны.

Китти как на пружине подкинуло. Она спустила ноги на пол, готовая вскочить.

– Тихо, тихо, – сказала настоятельница.

Китти, красная как рак, прижала руки к груди.

– Не может этого быть. Это неправда.

– *Qu'est ce qu'elle dit?*¹³ – спросила сестра Сен-Жозеф.

Настоятельница перевела. Румяное лицо сестры Сен-Жозеф расплылось в улыбке.

– Уж вы мне поверьте. Даю честное слово.

– Вы сколько времени замужем, дитя мое? – спросила настоятельница. – Ну вот, у жены моего брата через столько же времени после свадьбы уже было двое детей.

Китти устало откинулась в кресле. В душе ее была смерть.

– Мне так стыдно, – прошептала она.

– Стыдно, что у вас будет ребенок? Это же так естественно.

– *Quelle joie pour le docteur*¹⁴, – добавила сестра Сен-Жозеф.

– Да, подумайте только, какая это радость для вашего мужа. Он будет вне себя от счастья. Надо видеть, какое у него делается лицо, когда он возится с нашими младенцами, а уж своему-то и подавно будет рад.

Китти умолкла. Монахини продолжали ласково ее разглядывать, настоятельница гладила по руке.

– Глупо, как я раньше не догадалась, – сказала Китти. – Во всяком случае, я рада, что это не холера. Мне уже гораздо лучше, пойду работать.

– Сегодня бы не стоило, милая, – сказала настоятельница. – Вы переволновались, ступайте-ка лучше домой и отдохните.

– Нет-нет, я лучше останусь здесь.

– Старших надо слушаться. Что бы сказал наш милый доктор, если бы я разрешила вам поступить так неосторожно? Приходите завтра, если будет охота, или послезавтра, но на сегодня с вас хватит. Сейчас пошлю за паланкином. Отрядить мне кого-нибудь из девочек вам в провозатые?

– Не надо. Я отлично доберусь и одна.

¹³ Что она говорит? (*фр.*)

¹⁴ Какая радость для доктора (*фр.*).

56

Китти лежала на своей постели при закрытых ставнях. Шел третий час дня, слуги спали. После того что она узнала утром (а теперь у нее не осталось сомнений), она пребывала в полном оцепенении. С самого возвращения домой она старалась собраться с мыслями, но в голове было пусто, мысли разбегались. Вдруг за стеной послышались шаги, шел кто-то в обуви – значит, не слуги; у нее екнуло сердце, это мог быть только Уолтер. Он прошел в гостиную, окликнул ее, она не ответила. После короткой паузы – стук в дверь.

– Да?

– Можно войти?

Китти встала и накинула халат.

– Входи.

Он вошел. Хорошо, что ставни закрыты, так что ее лицо в тени.

– Я тебя не разбудил? Я постучал совсем тихо.

– Я не спала.

Он подошел к одному из окон и распахнул ставни. В комнату хлынул поток теплого света.

– Что случилось? – спросила она. – Почему ты так рано?

– Монахини сказали, что ты плохо себя чувствуешь. Я зашел узнать, в чем дело.

На минуту в ней вспыхнул гнев.

– Что ты сказал бы, если б это была холера?

– Будь это холера, ты, безусловно, не добралась бы домой.

Чтобы оттянуть время, она подошла к туалетному столику, провела гребенкой по стриженным волосам. Потом села и закурила.

– Утром мне нездоровилось, настоятельница решила, что мне надо побыть дома. Но сейчас все прошло. Завтра пойду туда, как обычно.

– Так что же с тобой было?

– А они тебе не сказали?

– Нет, настоятельница говорит, что ты мне сама расскажешь.

Тут случилось то, чего уже давно не бывало: он в упор посмотрел на нее; профессиональный инстинкт оказался сильнее личного чувства. Она заколебалась, потом заставила себя встретиться с ним глазами.

– У меня будет ребенок.

Она уже привыкла, что он встречает молчанием слова, которые должны бы вызвать удивленный возглас, но никогда еще это молчание не казалось ей таким убийственным. Он не вздрогнул, не шелохнулся, ни словом, ни выражением глаз не показал, что слышал ее. Ей захотелось плакать. Когда муж и жена любят друг друга, в такие минуты глубокое волнение еще больше их сближает. Молчание было нестерпимо, и она не выдержала.

– Не знаю, почему я раньше об этом не подумала. Глупо, конечно, но... я как-то запуталась...

– И сколько времени ты уже... когда ты должна родить?

Слова как будто давались ему с трудом. Она чувствовала, что у него пересохло в горле. И надо же, как у нее дрожат губы. Если он не каменный, это должно вызывать жалость.

– У меня сейчас срок два или три месяца.

– Отец ребенка я?

Она судорожно вздохнула. Голос его слегка дрогнул, или ей показалось? Будь проклята эта его холодная сдержанность, при которой малейшее проявление чувства так потрясает. Почему-то ей вдруг вспомнился прибор, который ей показывали в Гонконге, на нем чуть заметно колебалась стрелка, и ей объяснили, что это значит: за тысячу миль от них произошло

землетрясение, унесшее около тысячи человеческих жизней. Она взглянула на Уолтера. Он был бледен как полотно. Таким она видела его только раз, нет, два раза. Он смотрел в пол, слегка скосив глаза.

– Ну?

Она стиснула руки. Как ему сейчас нужно, чтобы она ответила «да»! Он ей поверит, непременно поверит, потому что хочет верить. И простит. Она знала, сколько нежности он таит в душе и как, вопреки своей робости, мечтает излить ее на кого-то. Она знала, что он не злопамятен; он простит, если только дать ему для этого повод, который затронул бы его сердце, и простит до конца. Никогда не попрекнет ее тем, что было, этого можно не бояться. Пусть он жесток, мрачен, холоден, но он не подл и не мелочен. Все пойдет по-другому, стоит ей сказать «да».

А она жаждала сочувствия. Когда ей так неожиданно открылось, что она беременна, в ней зародились странные надежды, неосознанные желания. Она чувствовала себя слабой, оробевшей, одинокой, без единого друга на свете. Как ни далеки они были с матерью, ее остро потянуло под материнское крыло. Она тосковала о помощи, об утешении. Уолтера она не любила и знала, что никогда не полюбит, но сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял и можно было прижаться головой к его груди и заплакать счастливыми слезами. Хотелось, чтобы он поцеловал ее, хотелось обвить руками его шею.

Она заплакала. Она столько лгала в последние месяцы, ложь давалась ей так легко. Чем плоха ложь, если она – на благо? Так легко сказать «да». Она уже видела потеплевшие глаза Уолтера, его руки, протянутые к ней. И не могла выговорить это слово. Не могла, и все. Она столько пережила за эти горькие недели. Чарли и его отступничество, холера и бесконечные смерти со всех сторон, монахини, даже забавный пьянчужка Уоддингтон – все это произвело в ней перемену, она сама себя не узнавала. Ей казалось, будто какой-то двойник следит за ней с удивлением и страхом. Нет, она *должна* сказать правду. Какой смысл лгать. Мысль ее сделала странный скачок: она вдруг увидела того мертвого нищего на земле, у стены участка. Почему он ей вспомнился? Она не рыдала. Слезы ее лились рекой, глаза были открыты. Наконец она вспомнила про его вопрос. Он ее спросил, он ли отец ребенка. И теперь она ответила:

– Не знаю.

Послышался тихий смешок, от которого ее бросило в дрожь.

– Нескладно получилось, а?

Как это на него похоже. Именно такого замечания от него можно было ждать, но у Китти упало сердце. Понял ли он, как трудно ей было сказать правду (впрочем, поправилась она, совсем было не трудно, а просто невозможно иначе), оценил ли ее честность? Собственные слова «не знаю, не знаю» стучали в мозг. Теперь уж их не возьмешь обратно. Она достала из сумки платок и вытерла слезы. Оба молчали. На столе у кровати стоял сифон, Уолтер налил ей воды. Он поддерживал стакан, пока она пила, и она заметила, как исхудала эта рука, красивая, с длинными пальцами, но буквально кожа да кости. И чуть дрожит. С лицом он мог совладать, а рука его выдала.

– Ты не обращай внимания, что я плачу, – сказала она. – Это я так, просто слезы сами из глаз льются.

Она выпила воду, он отнес стакан на место, сел на стул и закурил. Вот он легонько вздохнул. Ей уже доводилось слышать такие вздохи, от них всякий раз щемило сердце. Он устремил невидящий взгляд в окно, а она, присмотревшись к нему, поразилась, до чего он похудел за последние недели. Виски запали, кости лица выпирают наружу. Платье висит на нем как на вешалке. Кожа под загаром зеленовато-бледная. Вид изможденный. Он слишком много работает, спит мало, ничего не ест. Несмотря на собственные горести и тревоги, она нашла в себе силы пожалеть его. Как больно думать, что ничем не можешь ему помочь.

Он приложил руку ко лбу, словно у него разболелась голова, и ей представилось, что у него в мозгу тоже неотступно стучат слова «не знаю, не знаю». Странно, что этот холодный, хмурый, застенчивый человек наделен любовью к самым маленьким. Мужчины часто и к своим-то равнодушны, но про него монахини сколько раз ей рассказывали, это их и трогало, и смешило. Если он так любит этих китайчат, как же он любил бы своего ребенка! Китти закусила губу, чтобы опять не расплакаться.

Уолтер взглянул на часы.

– Пора мне обратно в город. У меня сегодня еще уйма работы. Ты как, ничего?

– Обо мне не беспокойся.

– Ты вечером не дожидайся меня. Я, возможно, вернусь очень поздно, а накормит меня полковник Ю.

– Хорошо.

Он встал.

– Советую сегодня не переутомляться, дай себе передышку. Тебе что-нибудь подать, принести?

– Нет, спасибо. Ничего не нужно.

Он еще постоял как бы в нерешительности, потом, не глядя на нее, взял шляпу и вышел. Она слышала, как он шел от крыльца к воротам. Одна, до ужаса одна. Сдерживаться теперь было не нужно, и она дала волю слезам.

57

Вечер был душный, и, когда Уолтер наконец вернулся, Китти сидела у окна, глядя на причудливые крыши китайского храма, черные на фоне звездного неба. Глаза ее опухли от слез, но она успокоилась. Странная тишина снизошла в душу, несмотря на все тревожнения, – может быть, просто от усталости.

- Я думал, ты уже спишь, – сказал Уолтер входя.
- Мне не спалось. Когда сидишь, не так жарко. Тебя покормили?
- Еще как.

Он прошелся взад-вперед по длинной комнате, и она поняла, что он хочет о чем-то поговорить с ней, но не знает, как начать. Без тени волнения она ждала, чтоб он собрался с духом. И дождалась.

– Я обдумал то, что ты мне сегодня рассказала. Мне кажется, тебе лучше отсюда уехать. Я уже поговорил с полковником Ю, он согласен предоставить тебе охрану. Можешь взять с собой служанку. Ты будешь в полной безопасности.

- А куда я могла бы уехать?
- Можешь уехать к матери.
- Думаешь, она мне обрадуется?
- Тогда можешь поехать в Гонконг.
- А что мне там делать?
- Тебе сейчас нужен уход, внимание. Я просто не вправе удерживать тебя здесь.

В ее улыбке была не только горечь, но и веселая насмешка. Она взглянула на него и чуть не рассмеялась.

- С чего это ты вдруг так беспокоишься о моем здоровье?

Он подошел к окну и остановился, глядя в ночь. Никогда еще в безоблачном небе не было столько звезд.

- Женщине в твоём положении нельзя здесь оставаться.

Его легкий белый костюм пятном выделялся во мраке; в чеканном профиле было что-то зловещее, но, как ни странно, сейчас он не внушал ей ни малейшего страха. Неожиданно она спросила:

- Когда ты добился, чтобы я сюда поехала, ты хотел моей смерти?

Он не отвечал так долго, что она успела подумать, не притворяется ли он, будто не слышал.

- Сначала – да.

Она нервно поежилась – ведь это он впервые сознался в своем намерении. Но зла она на него не держала. Она сама себе удивлялась – сейчас он даже внушал ей восхищение и в то же время был немного смешон. А когда она вдруг вспомнила про Чарли Таунсенда, то решила, что он просто глуп.

– Ты шел на страшный риск, – отозвалась она. – При твоей сверхчувствительной совести ты не простишь себе, если бы я умерла.

- Ну вот, а ты не умерла. Ты даже поздоровела.
- Я в жизни не чувствовала себя лучше.

Ее подмывало воззвать к его чувству юмора. После всего, что они пережили, среди всех этих ужасов и невзгод, идиотством казалось придавать значение такой ерунде, как блуд. Когда смерть подстерегает за каждым углом и уносит свои жертвы, как крестьянин – картошку с поля, не все ли равно, хорошо или плохо тот или иной человек распоряжается своим телом. Если б он только мог понять, как мало значит для нее теперь Чарли – даже лицо его вспоминается уже с трудом, – как безвозвратно эта любовь ушла из ее сердца! У нее не осталось к Таунсенду

ни капли чувства, и потому обесмыслилось все, в чем они были повинны. Сердце ее снова свободно, а что тут было замешано тело – да наплевать на это! Ей хотелось сказать Уолтеру: «Слушай, не пора ли нам образумиться? Мы дулись друг на друга, как дети. Давай помиримся. Любви между нами нет, но почему нам не быть друзьями?»

Он стоял очень тихо. Бесстрастное лицо в свете лампы было мертвенно-бледно. Она не надеялась на него: если скажешь не то, он обрушит на тебя такой ледяной сарказм! Она уже знала, какая ранимость скрывается под этой язвительной маской, как быстро он может замкнуться, если будут задеты его чувства. Надо же быть таким идиотом! Для него важнее всего удар по его самолюбию – наверно, от такого удара вообще труднее всего оправиться. Чудаки эти мужчины, что придают такое значение верности жен. Сама-то она, когда сошлась с Чарли, думала, что изменилась неузнаваемо, а оказалось, что она все такая же, только счастливее и жизнерадостнее. И почему она не смогла сказать Уолтеру, что ребенок его? Ей эта ложь ничего бы не стоила, а для него была бы такая радость. А может, это и не было бы ложью; даже удивительно, что в своих интересах она не подумала о такой лазейке, а вот не подумала... До чего же мужчины глупые! Их роль в этом деле так ничтожна. Это женщина долгие, тягостные месяцы носит ребенка, женщина в муках рождает его, а мужчина, сбоку припека, туда же, со своими претензиями. Почему это должно влиять на его отношение к ребенку? И мысли Китти обратились к тому ребенку, которого ей самой предстояло родить; она подумала о нем не с волнением, не в радостном предвкушении материнства, а с ленивым любопытством.

– Тебе, конечно, еще хочется это обдумать, – сказал Уолтер, нарушая долгое молчание.

– Что обдумать?

Он оглянулся, словно удивленный ее вопросом.

– Когда тебе лучше ехать.

– Но я не хочу уезжать.

– Почему?

– Мне нравится работать в монастыре. По-моему, я приношу там пользу. Я предпочла бы дожидаться тебя.

– Мне, пожалуй, следует тебе объяснить, что в твоём теперешнем положении ты особенно подвержена любой инфекции.

– Как деликатно ты это выразил, – сказала Китти с усмешкой.

– Ты не ради меня остаешься?

Она замялась. Откуда ему знать, что сейчас самое сильное чувство, какое он у нее вызывает, и самое неожиданное – это жалость.

– Нет. Ты меня не любишь. Тебе со мной, наверно, скучно.

– Не подумал бы я, что женщина твоего склада способна пожертвовать своими удобствами ради нескольких праведных монахинь и оравы китайских детишек.

Она улыбнулась.

– Это несправедливо – презирать меня за то, что ты так неправильно меня расценил. Я не виновата, что ты был таким олухом.

– Если ты твердо решила остаться, я, конечно, не собираюсь тебе перечить.

– К сожалению, я не могу дать тебе повод проявить великодушие. – Почему-то ей сейчас было трудно говорить с ним всерьез. – И между прочим, ты совершенно прав: я остаюсь не только ради бедных сироток. Я, понимаешь ли, оказалась в таком положении, что у меня во всем мире нет ни одной родной души. Я не знаю никого, кто принял бы меня с радостью. Никого, кому есть дело, жива я или умерла.

Он нахмурился, но не от гнева.

– Хорошеньких дел мы с тобой натворили, а? – сказал он.

– Ты все еще собираешься подать на развод? Мне это теперь безразлично.

– Ты же знаешь, что, привезя тебя сюда, я тем самым отказался от права обвинения.

– Нет, я не знала. Я, понимаешь, не специалист по супружеским изменам. Что же мы будем делать, когда уедем отсюда? По-прежнему будем жить вместе?

– Ох, давай лучше не загадывать так далеко вперед.

В голосе его была смертельная усталость.

58

Три дня спустя Уоддингтон зашел за Китти в монастырь (она, не находя себе места от беспокойства, сразу вернулась к работе) и повел, как было обещано, на чашку чаю к своей сожительнице. Китти уже не раз обедала у него. Дом был белый, квадратный, парадный, из тех, какие Таможня строит для своих служащих по всему Китаю. Столовая, где они обедали, гостиная, где пили кофе, были обставлены добротно и строго. В обстановке ничего домашнего, не то отель, не то канцелярия, сразу видно, что эти дома – всего лишь случайное, временное жилище для сменяющихся обитателей. Никому бы и в голову не пришло, что на втором этаже скрыта от посторонних глаз тайна, притом романтического свойства. Они поднялись по лестнице. Уоддингтон отворил дверь. Китти оказалась в большой голой комнате с белыми стенами, на которых развешаны были свитки со столбиками иероглифов. За квадратным черным столом, в жестком кресле тоже черного дерева и покрытом сложной резьбой, сидела маньчжурка. При виде Китти и Уоддингтона она встала, но не двинулась им навстречу.

– Вот она, – сказал Уоддингтон и добавил что-то по-китайски. Женщина поздоровалась за руку. Она была очень стройная, в длинном вышитом платье и выше ростом, чем ожидала Китти, привыкшая к уроженкам южного Китая. На ней была бледно-зеленая кофта с узкими рукавами, прикрывавшими запястья; на черных, тщательно причесанных волосах красовался головной убор маньчжурских женщин. Лицо было густо напудрено, щеки от глаз до самого рта наруганы, выщипанные брови как тонкие черные черточки, рот ярко-алый. На этой маске большие черные, слегка раскосые глаза горели, как два озера живого агата. Не женщина, а раскрашенный идол. Движения ее были неспешны, уверенны. Китти показалось, что она немного робеет, но полна любопытства. Пока Уоддингтон говорил с ней, она изредка кивала и взглядывала на Китти. Китти поразили ее руки – невероятно длинные, тонкие, цвета слоновой кости, с накрашенными ногтями. Никогда еще она не видела таких прелестных, томных, грациозных рук. В них угадывалась родовитость несчетных поколений.

Она заговорила высоким, резким голосом – словно птицы защебетали в саду, – и Уоддингтон перевел Китти ее слова, что она рада ее видеть, и сколько ей лет, и сколько у нее детей? Они сели на три жестких кресла вокруг квадратного стола, и бой подал чай, бледный и ароматизированный жасмином. Маньчжурка предложила Китти зеленую жестянку с сигаретами «Три замка». Кроме стола и кресел, в комнате почти не было мебели, только широкий спальный тюфяк с вышитым валиком в изголовье и два ларя сандалового дерева.

– Что она делает целыми днями? – спросила Китти.

– Немного рисует красками, изредка пишет стихи. А по большей части просто сидит. Курит, но умеренно, и я этому рад, поскольку в мои обязанности входит пресекать торговлю опиумом.

– А сами вы курите? – спросила Китти.

– Очень редко. Честно говоря, я предпочитаю виски.

В комнате стоял слабый приторно-едкий запах, не то чтобы неприятный, но характерный, свойственный восточным домам.

– Скажите ей, что мне жаль, что я не могу с ней поговорить. У нас, я уверена, нашлось бы что сказать друг другу.

Когда Уоддингтон перевел, маньчжурка бросила на Китти быстрый взгляд, в котором светилась улыбка. Она сидела в своем пышном наряде, очень величественная, нисколько не смущенная, а глаза на раскрашенном лице были настороженные, загадочные, бездонные. Она была неестественна, как кукла, и притом до того грациозна, что Китти перед ней казалась себе неуклюжей. До сих пор Китти воспринимала Китай, куда забросила ее судьба, без особого внимания, немного свысока. Так было принято в ее кругу. Теперь же на нее повеяло чем-то поту-

сторонним, таинственным. Вот он, Восток, древний, неведомый, непостижимый. Верования и идеалы Запада показались ей грубыми по сравнению с теми идеалами и верованиями, что словно воплотились в этом изысканно-прекрасном создании. Перед ней была совсем другая жизнь, жизнь в совершенно ином измерении. Перед лицом этой куклы с накрашенным ртом и настороженными раскосыми глазами искания и боли повседневного мира утрачивали всякий смысл. Словно за размалеванной маской скрывалось огромное богатство глубоких, значительных переживаний, словно эти тонкие, изящные руки с длинными пальцами держали ключ к неразрешимым загадкам.

– О чем она думает целыми днями? – спросила Китти.

– Ни о чем, – улыбнулся Уоддингтон.

– Она изумительна. Скажите ей, что я еще никогда не видела таких прекрасных рук.

Хотела бы я знать, за что она вас любит.

Уоддингтон, улыбаясь, перевел ее вопрос.

– Она говорит, что я хороший.

– Как будто женщины любят мужчин за их добродетели, – фыркнула Китти.

Рассмеялась маньчжурка всего один раз. Это случилось, когда Китти, чтобы поддержать разговор, стала восхищаться ее нефритовым браслетом. Она сняла браслет, и Китти попробовала его примерить, но, хотя рука у нее была маленькая, браслет на нее не налез. Вот тут маньчжурка и рассмеялась, как ребенок. Она сказала что-то Уоддингтону. Потом позвала служанку, дала ей какое-то поручение, и та, исчезнув на минуту, вернулась с парой очень красивых маньчжурских туфель.

– Она хочет подарить их вам, если окажутся впору, – объяснил Уоддингтон. – Для комнат это очень удобная обувь.

– Они мне как раз, – сказала Китти не без самодовольства, но, заметив, как хитро ухмыльнулся Уоддингтон, быстро спросила: – А ей они велики?

– О да.

Китти рассмеялась, а когда Уоддингтон перевел, посмеялись и маньчжурка и служанка.

Немного позднее, когда Китти и Уоддингтон поднимались к ее дому, она повернулась к нему с дружеской улыбкой.

– Вы мне и не сказали, как сильно ее любите.

– А с чего вы это взяли?

– По глазам видно. Странно. Это, наверно, все равно как любить призрак или грезу. Мужчины вообще непредсказуемы. Я думала, вы как все, а теперь чувствую, что ничегошеньки о вас не знаю.

Проводив ее до калитки, он неожиданно спросил:

– Зачем вам нужно было ее увидеть?

Китти ответила, немного подумав:

– Я чего-то ищу, чего – сама не знаю. Но знаю, что это очень важно и что, если найти, все пойдет по-другому. Может быть, это известно монахиням; но когда я с ними, я чувствую, что они знают секрет, которым не хотят делиться. Почему-то мне пришло в голову, что, если я увижу эту женщину, мне станет понятно, чего я ищу. Может, она мне и сказала бы, если б могла.

– А почему вы думаете, что она это знает?

Китти искоса поглядела на него и ответила вопросом на вопрос:

– А вы это знаете?

Он пожал плечами.

– Дао. Путь. Одни из нас ищут его в опиуме, другие в Боге, кто в вине, кто в любви. А Путь для всех один и ведет в никуда.

Китти вернулась в уже привычную для нее рабочую колею и, хотя с утра чувствовала себя очень неважно, не давала себе распускаться. Ее удивило, какой интерес стали проявлять к ней монашенки. Раньше, встречая ее в коридоре, они только здоровались, теперь же, по-детски волнуясь, норовили под каким-нибудь пустячным предлогом зайти в комнату, где она находилась, посмотреть на нее и поболтать. Сестра Сен-Жозеф раз за разом вспоминала, что она уже давно что-то заметила и все думала: «Что бы это значило?» или «Скорее всего это самое», а потом, когда Китти стало дурно, – «И сомневаться нечего, сразу видно». Она не устала рассказывать о том, как проходили роды у ее невестки, и некоторые подробности могли бы сильно встревожить Китти, не обладай она чувством юмора. В сестре Сен-Жозеф приятно сочетались памятьливость (по лугу на ферме ее отца протекала река, и тополя, что росли на берегу, дрожали от малейшего ветра) и короткое знакомство с библейскими героями. Твердо убежденная в том, что еретичка ничего в этом не может смыслить, она однажды рассказала Китти про Благовещение.

– Я, когда читаю про это в Священном Писании, всегда плачу, – сказала она. – Сама не знаю почему, просто сердце как-то дрожит.

И процитировала по-французски слова, показавшиеся Китти незнакомыми и суховатыми: «Ангел, вошед к ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами»¹⁵.

Тайна рождения веяла в стенах монастыря, как легкий ветерок среди цветущих яблонь. Мысль, что Китти ждет ребенка, смущала и будоражила этих бесплодных женщин. Они и робели перед Китти, и тянулись к ней. Физическую сторону ее состояния они воспринимали вполне здраво, ибо были дочерьми крестьян и рыбаков; но детские их сердца были полны благоговения. Мысль о бремени, которое она носит под сердцем, тревожила их и в то же время вызывала душевный подъем. Сестра Сен-Жозеф говорила, что все они за нее молятся, а сестра Сен-Мартен выразила сожаление, что Китти не католичка. Но настоятельница побранила ее и объяснила, что и протестантка может быть хорошей женщиной – *une brave femme* – и *le bon Dieu*¹⁶ так или иначе все это уладит.

Китти и трогало, и забавляло, что она вызывает такой интерес, но по-настоящему ее удивило то, что даже настоятельница, столь строгая в своей святости, стала относиться к ней по-новому. Она всегда была добра к Китти, однако не снисходила до нее; теперь же проявляла к ней чуть не материнскую нежность. И голос ее звучал по-новому мягко, и в глазах мелькали веселые искорки, словно она любовалась Китти, как смышленным ребенком, сумевшим заслужить ее расположение. Китти все это умиляло. Словно в эту душу, спокойную и величавую, как серое море, пугающее своей сумрачной мощью, внезапно проник луч солнца, и оно ожило, подобрело, повеселело. По вечерам она теперь часто заходила посидеть с Китти.

– Я должна следить, чтобы вы не переутомлялись, дитя мое, – сказала она однажды, явно выдумав себе оправдание, – а то доктор Фейн ни за что мне не простит. Ах эта британская сдержанность! Вот ведь он какой, себя не помнит от радости, но, стоит заговорить с ним про это, сразу бледнеет.

Она ласково потрепала Китти по руке.

– Доктор Фейн рассказал мне, что советовал вам уехать, но вы отказались, потому что не хотели расстаться с нами. Это очень похвально, дитя мое, и не думайте, что мы не ценим вашей помощи. Но я подозреваю, что вы и с ним не захотели расстаться, а это еще лучше, ибо

¹⁵ Евангелие от Луки, 1:28.

¹⁶ Боженька (фр.).

ваше место – рядом с ним, вы ему нужны. Да, просто не знаю, что бы мы делали без этого замечательного человека.

– Мне отрадно думать, что он кое-что сделал для вас, – сказала Китти.

– Любите его всем сердцем, милая. Он – святой.

Китти улыбнулась и подавила вздох. Для Уолтера она могла теперь сделать только одно, но как это сделать – не знала. Она хотела, чтобы он простил ее – уже не ради нее, но ради себя, ведь только это могло дать ему душевный покой. Просить его прощения бесполезно, если он догадается, что она желает добра не столько себе, сколько ему, он в своем упорном тщеславии тем более ей откажет (его тщеславие почему-то перестало ее раздражать, оно казалось естественным и только усиливало жалость, которую он внушал ей); единственный шанс – что какое-нибудь непредвиденное внешнее обстоятельство поможет застигнуть его врасплох. Он, возможно, даже ждет эмоционального взрыва, который избавил бы его от кошмара затаенной обиды, но и в этом случае будет в своей одержимости всеми силами бороться с собой.

Ну не позор ли, что люди, которым отпущено так мало времени в полном страданий мире, так безжалостно себя мучат?

Хотя настоятельница подолгу беседовала с Китти всего три или четыре раза да еще изредка по несколько минут, впечатление она произвела на Китти очень глубокое. Ее образ был подобен некой стране, на первый взгляд прекрасной, но негостеприимной; лишь потом обнаруживаешь в складках суровых гор приветливые деревушки под сенью фруктовых деревьев и веселые речки, бегущие по сочным лугам. Но этих отрадных картин, хоть они и удивляют и успокаивают, еще мало, чтобы чувствовать себя дома в этой стране бурых кряжей и просви- станых ветром равнин. Сойтись с настоятельницей по-человечески близко было бы невозможно, в ней было что-то безличное, что Китти ощущала и в общении с другими монахинями, даже с добродушной болтушкой сестрой Сен-Жозеф, но от настоятельница ее отделяла почти физически осязаемая преграда. Как-то неуютно и страшно делалось при мысли, что она ходит по одной с тобою земле, по горло занята мирскими делами и все же явственно обитает на уровне, для тебя недостижимом. Однажды она сказала Китти:

– Монахине мало пребывать в непрестанной молитве Иисусу, она сама должна быть молитвой.

Хотя речь ее была неотделима от ее веры, Китти чувствовала, что это получается само собой, без всякого намерения повлиять на еретичку. Ее удивляло, что настоятельница, столь милосердная к людям, даже не пытается вывести ее, Китти, из состояния, которое не может не казаться ей греховным невежеством.

Как-то вечером они засиделись за разговором. Дни стали короче, мягкий вечерний свет и радовал, и навевал легкую грусть. У настоятельница вид был очень усталый. Трагическое бледное лицо осунулось, прекрасные темные глаза потеряли блеск. Может быть, это усталость склонила ее к несвойственной ей откровенности.

– Сегодня для меня памятный день, дитя мое, – сказала она, словно пробуждаясь от долгой задумчивости. – Годовщина того дня, когда я окончательно решила посвятить себя Богу. Я уже два года об этом думала, но призвание это меня отпугивало, я боялась, как бы меня вновь не одолели мирские помыслы. Но в то утро, во время причастия, я дала обет, что в этот же день, еще до вечера, сообщу о своем желании матери. После причастия я помолилась Иисусу о ниспослании мне душевного покоя и явственно услышала в ответ: «Ты тогда обретишь его, когда перестанешь его желать».

Настоятельница словно унеслась мыслями в прошлое.

– В тот день наш близкий друг мадам Вьерно ушла к кармелиткам, не сказавшись никому из родных. Она знала, что они не сочувствуют ее планам, но считала, что, как вдова, имеет право сама собой распоряжаться. Одна из моих кузин ездила к ней проститься и вернулась только вечером, очень взволнованная. Я еще не говорила с матерью, я дрожала при мысли, что нужно ей открыться, но не хотела и нарушить обет, данный во время святого причастия. Я стала расспрашивать кузину о ее поездке. Моя мать, казалось поглощенная рукоделием, внимательно слушала, а я мысленно подгоняла себя: если говорить, то нельзя терять ни минуты.

Странно, до чего отчетливо я помню эту сцену. Мы сидели за столом, круглым столом под красной скатертью, и работали при свете лампы с зеленым абажуром. Две мои кузины гостили у нас, и мы все вместе вышивали гладью сиденья и спинки, чтобы обновить стулья в гостиной. Подумайте только, на них не меняли обивку с времен Людовика XIV, когда их только купили, и они, как говаривала моя мать, выцвели и обтрепались до безобразия.

Я пробовала заговорить, но не могла выдать из себя ни слова, и вдруг моя мать, до того молчавшая, сказала, обращаясь ко мне: «Не понимаю поведения твоей подруги. Как это можно – уйти, не сказав ни слова тем, кому она так дорога. Это какой-то театральный жест, на мой взгляд безвкусный. Воспитанная женщина не сделает ничего такого, что заставило бы о

ней судачить. Я надеюсь, что если ты когда-нибудь вздумаешь нас покинуть, что было бы для нас большим горем, то все же не сбежишь тайком, словно совершила преступление».

Вот когда нужно было заговорить, но так велика была моя слабость, что я могла только вымолвить: «О, не беспокойтесь, тамап, у меня на это не хватило бы сил».

Мать ничего не ответила, и мне стало стыдно, что я не осмелилась выразиться яснее. Я словно услышала слова Иисуса, обращенные к святому Петру: «Петр, любишь ли ты меня?»¹⁷ Какая же я слабая, подумала я, какая неблагодарная! Я люблю мою спокойную, обеспеченную жизнь, люблю мою семью, мои развлечения. Немного погодя, когда я еще предавалась этим горьким размышлениям, моя мать сказала, словно наш разговор и не прерывался: «А все же мне думается, моя Одетта, что в своей жизни ты еще совершишь что-то такое, о чем люди будут долго помнить».

Я еще не очнулась от своих мыслей, а мои кузины, не ведая, как колотится у меня сердце, продолжали спокойно вышивать, но матушка вдруг выронила из рук работу и, внимательно посмотрев на меня, сказала: «Дорогое мое дитя, я почти не сомневаюсь, что рано или поздно ты примешь постриг».

«Вы не шутите, маменька? – отозвалась я. – Вы ведь только что описали самое сокровенное мое желание».

«Ну еще бы! – вскричали мои кузины, не дав мне договорить. – Одетта уже два года только об этом и мечтает. Но вы не дадите вашего согласия, тетя? Нельзя вам на это соглашаться!»

«А по какому праву мы можем это запретить, мои милые дети, если на то будет воля Божия?»

Тогда мои кузины, желая обратить все в шутку, стали меня спрашивать, как я намерена распорядиться всякими безделушками, принадлежащими лично мне, и затеяли шуточный спор о том, кому из них что достанется. Однако веселье это длилось очень недолго, а потом мы заплакали. И тут на лестнице послышались шаги моего отца.

Настоятельница умолкла и глубоко вздохнула.

– Для моего отца это был тяжелый удар. Я была единственной дочерью, а мужчины часто любят дочек сильнее, чем сыновей.

– Великое это несчастье – иметь сердце, – улыбнулась Китти.

– Зато великое счастье – посвятить это сердце любви к Спасителю.

Тут к настоятельнице подошла одна из младших девочек и, уверенная, что ее не прогонят, показала ей неизвестно где раздобытую очень страшную игрушку. Настоятельница обняла девочку за плечи своей прекрасной худощавой рукой, а та доверчиво к ней прижалась. И Китти опять отметила, как ласкова ее улыбка и как безлична.

– Просто поразительно, та mère, как эти сиротки вас обожают. Я бы загордилась, если б могла вызывать такое преклонение.

И ей настоятельница тоже подарила отрешенную и, однако же, прекрасную улыбку.

– Единственный способ завоевывать сердца – это уподоблять себя тем, чью любовь мы хотим заслужить.

¹⁷ Евангелие от Иоанна, 21:15–17.

61

Уолтер в тот вечер не вернулся к обеду. Китти подождала немного – обычно он, если задерживался в городе, находил способ известить ее, – но в конце концов села обедать одна. Она больше для вида отведала каждого из пяти-шести блюд, которые повар неизменно готовил, соблюдая обеденный обряд, несмотря на эпидемию и трудности со снабжением; а поев, растянулась в низком плетеном кресле у открытого окна и дала околдовать себя звездной ночи. Тишина сулила ей отдых.

Читать она не пыталась. Мысли проплывали по поверхности ее сознания, как белые облачка, отраженные в тихом пруду. Она так устала, что не в силах была ухватиться за какое-нибудь одно такое облачко, последовать за ним, проследить его путь. Она лениво пробовала подытожить впечатления, оставшиеся у нее от разговоров с монахинями. Казалось странным, что, хотя их образ жизни внушал ей такое уважение, вера, толкавшая их на такой образ жизни, оставляла ее равнодушной. Она даже вздыхала легонько: может быть, все стало бы проще, если бы душу ее озарило это широкое белое сияние. Бывали минуты, когда ей хотелось рассказать настоятельнице о своем горе и чем оно вызвано, но не хватало духу: слишком страшно было, что эта строгая женщина будет плохо о ней думать. В ее глазах поведение Китти, несомненно, являет собой тяжкий грех. Странно, думалось Китти, что ей самой оно кажется не столько греховным, сколько некрасивым и глупым.

Может, это недомыслие с ее стороны, но, если связь с Таунсендом и представляется ей достойной сожаления, даже неприличной, в ней не раскаиваться надо, а поскорее о ней забыть. Все равно как если допустишь какой-нибудь промах на званом вечере – очень, конечно, обидно, но ничего не поделаешь, а придавать этому серьезное значение просто неумно. При воспоминании о Чарли ее пробирала дрожь – эта его крупная, упитанная фигура, безвольный подбородок и манера выпячивать грудь, чтобы не казалось, что у него брюшко. Жизнелюбие проявляется у него в тонких красных жилках, которые скоро затянут щеки сплошной сеткой. Когда-то ей так нравились его косматые брови, теперь же ей виделось в них что-то грубое, отталкивающее.

А будущее? Она была к нему до странности равнодушна, вообще о нем не задумывалась. Может быть, она умрет, когда родится ребенок. Ее сестра Дорис всегда считалась здоровее ее, а Дорис ведь чуть не умерла от родов. (Она исполнила свой долг – подарила наследника новой династии баронетов. Китти улыбнулась, вспомнив, какой радостью это было для ее матери.) Раз будущее так темно, это может означать, что ей не суждено его увидеть. Уолтер, вероятно, препоручит ребенка заботам ее матери... если ребенок выживет; а Уолтера она знает: он, даже если не будет уверен в своем отцовстве, не бросит ребенка на произвол судьбы. На Уолтера можно положиться, он в любых обстоятельствах покажет себя с наилучшей стороны. Какая жалость, что при всех его достоинствах – честности, готовности к самоотречению, чуткости и уме – его так трудно полюбить! Она теперь нисколько его не боится, она его жалеет, и все же он кажется ей глуповат. Глубина его чувства – вот что сделало его особенно уязвимым, но когда-нибудь, как-нибудь она сумеет добиться его прощения. Ее не оставляла мысль, что, только вернув ему душевный покой, она искупит боль, которую причинила ему. Как жаль, что у него не развито чувство юмора: она-то может себе представить, что когда-нибудь они вместе посмеются, вспомнив, как сами себя терзали.

Она устала. Унесла лампу к себе в спальню, разделась. Легла и вскоре уснула.

62

Но ее разбудил громкий стук. Он впелся в ее сновидения, так что она не сразу сообразила, что это не сон. Стук продолжался, и она поняла, что стучат в калитку. Было совсем темно. Она посмотрела на свои часики со светящимися стрелками: половина третьего. Наверно, Уолтер – как он поздно! – а бой не слышит. Стук продолжался, все громче и громче, в молчании ночи он звучал очень тревожно. Потом он прекратился, она услышала, как отодвинули тяжелый засов. Никогда еще Уолтер не возвращался так поздно. Бедняга, наверно, совсем вымотался. Хоть бы у него хватило ума сразу лечь, а не корпеть, как всегда, в этой своей лаборатории!

Послышались голоса, кто-то вошел во двор. Странно, ведь Уолтер, когда возвращается поздно, старается не шуметь, чтобы не беспокоить ее. Не то два, не то три человека взбежали на крыльцо и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. В глубине ее сознания всегда жила боязнь антиевропейских волнений. Что-нибудь началось? Сердце у нее забилося. Но смутные опасения еще только зародились в ее мозгу, когда кто-то подошел к ее двери и постучал.

– Миссис Фейн!

Она узнала голос Уоддингтона.

– Да. Что случилось?

– Встаньте, пожалуйста. Я к вам по делу.

Она встала и, надев халат, отперла и распахнула дверь. За дверью стоял Уоддингтон в китайских шароварах и чесучовом пиджаке, бой с фонарем в руке, а немного позади них – три китайских солдата в хаки. Она вздрогнула, увидев расстроенное лицо Уоддингтона, и весь он выглядел так, будто только что вскочил с постели.

– Что случилось? – повторила она чуть слышно.

– Не надо волноваться. Но нельзя терять ни минуты. Одевайтесь поскорее, и идемте.

– Но почему? Что-нибудь произошло в городе?

При виде солдат она сразу решила, что начались беспорядки и они присланы охранять ее.

– Ваш муж заболел. Идемте скорее.

– Уолтер! – вскрикнула она.

– Держите себя в руках. Я сам еще точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал ко мне этого офицера и просил меня немедленно доставить вас в его резиденцию.

Китти, вся похолодев, тупо посмотрела на него, потом отступила от двери.

– Я буду готова через две минуты.

– Я пришел в чем был, – отозвался он. – Я тоже спал. Надел только пиджак и туфли.

Она не слышала. Натянула на себя первое, что попало под руку, пальцы не слушались, она с трудом застегнула какие-то крючки на платье. На плечи накинула кантонскую шаль, которая была на ней вечером.

– Шляпу можно не надевать?

– Да.

Бой с фонарем пошел впереди, они поспешно спустились с крыльца и вышли на улицу.

– Осторожней, не упадите, – сказал Уоддингтон. – Вот моя рука, цепляйтесь.

Военные не отставали от них ни на шаг.

– Полковник Ю выслал паланкины. Они ждут на том берегу.

Они быстро спустились к реке. Китти не могла заставить себя задать вопрос, мучительно стучавший в мозгу, – слишком боялась ответа. На пристани их ждал сампан с фонариком на носу. Тут она спросила:

– Это холера?

– Видимо, так.

Она вскрикнула и остановилась.

– Не будем задерживаться, пошли. – Он шагнул в лодку и подал ей руку. Переправа была недолгая, они сгрудились на носу, а перевозчица с привязанным к бедру младенцем одним веслом погнала лодку по неподвижной воде.

– Он заболел сегодня днем, – сказал Уоддингтон. – Вернее, вчера днем.

– Почему за мной сразу не послали?

Таиться было не от кого, но они говорили шепотом. В темноте лица Уоддингтона не было видно, и Китти только чувствовала, как он весь напряжен.

– Полковник Ю хотел послать, он сам не позволил. Полковник Ю все это время не отходил от него.

– Он должен был за мной послать. Разве так можно?

– Ваш муж знал, что вы никогда не видели холерного больного. Это очень страшно и отвратительно. Он хотел избавить вас от этого зрелища.

– Как-никак он мой муж, – выговорила она, задыхаясь. Уоддингтон не ответил. – А почему теперь меня вызвали?

Уоддингтон дотронулся до ее руки.

– Дорогая моя, наберитесь мужества. Нужно быть готовой к самому худшему.

Она громко застонала и тут же отвернулась, заметив, что солдаты на нее смотрят. Глаза их таинственно блеснули во мраке.

– Он умирает?

– Я знаю только, какое поручение полковник Ю дал этому офицеру, когда посылал его за мной. Сколько я понимаю, он уже без сознания.

– И никакой надежды?

– Мне страшно жаль, но боюсь, мы можем не застать его в живых.

Она содрогнулась. Из глаз хлынули слезы.

– Понимаете, он очень истощен, никакой сопротивляемости.

Она раздраженно оттолкнула его руку. Ее бесило, что он говорит таким тихим, сдавленным голосом.

Они причалили, и два кули, стоявшие на берегу, помогли ей выйти из лодки. Паланкины их ждали. Подсаживая ее, Уоддингтон сказал:

– Постарайтесь не распускаться. Нервы вам еще понадобятся.

– Скажите носильщикам, чтобы торопились.

– Им дан приказ – бежать как можно быстрее.

Офицер, уже сидя в паланкине, крикнул что-то ее носильщикам. Они подхватили паланкин, приладили палки на плечах и дружно тронули с места. Подъем они одолели бегом, впереди каждого паланкина бежал человек с фонарем, а наверху, у водяных ворот, стоял сторож с факелом. Офицер окликнул его, он распахнул одну створку ворот и пропустил их, обменявшись с носильщиками какими-то непонятными возгласами. Эти гортанные звуки на чужом языке прозвучали в ночной темноте загадочно и тревожно. Они стали подниматься по мокрым и скользким булыжникам мостовой, один из носильщиков офицера споткнулся. До Китти донесся гневный окрик офицера, визгливый ответ носильщика, потом головной паланкин помчался дальше. Улицы были узкие, извилистые. Здесь, в городе, было совсем темно. Город мертвых. Они пронесли по узкому переулку, свернули за угол, взбежали вверх по каким-то ступеням. Запылавшиеся носильщики уже не бежали, а шли, молча, быстрым размашистым шагом; один из них на ходу достал рваный платок и вытер пот, заливавший глаза. Они без конца сворачивали то вправо, то влево, как в лабиринте. Порой можно было угадать, что у порога какой-нибудь запертой лавки лежит человеческая фигура, но невозможно было определить, проснется ли этот человек рано утром или не проснется никогда. В узких безлюдных улочках стояла жуткая тишина, и, когда где-то залаяла собака, натянутые нервы Китти совсем сдали. Куда ее несут?

Этой дороге не будет конца. Неужели нельзя побыстрее? Быстрее, быстрее. Время не ждет. А что, если они уже опоздали?

63

В длинной глухой стене, вдоль которой лежал их путь, появились ворота с будками по бокам, и паланкины стали. Уоддингтон бросился к Китти. Она уже соскочила на землю. Офицер постучал, что-то крикнул, открылась калитка, и они вошли во двор. Двор был большой, квадратный. У стен его, под стропилами выступающих крыш, лежали вповалку солдаты, завернувшись в одеяла. У ворот офицер, задержавшись на минуту, перекинулся словами с военным, судя по всему – начальником караула. Потом офицер сказал что-то Уоддингтону.

– Он еще жив, – сказал Уоддингтон. – Осторожно, не споткнитесь.

По-прежнему следуя за огоньками фонарей, они пересекли двор, поднялись по ступенькам к широкой двери, потом вниз, в другой просторный двор. Вдоль одной его стороны тянулась длинная освещенная комната. Сквозь рисовую бумагу чернел сложный узор оконных переплетов. Провожатые довели их до этой комнаты, офицер постучал. Дверь тотчас отворилась, и офицер, взглянув на Китти, отступил в сторону.

– Входите, – сказал Уоддингтон.

Комната была длинная, низкая, лампы тускло горели в зловещем полумраке. У противоположной стены лежал на тюфяке человек, укутанный одеялом. В ногах стоял навывтяжку военный.

Китти подбежала и склонилась над тюфяком. Уолтер лежал с закрытыми глазами. В сумрачном свете его серое лицо казалось мертвым. Он был до ужаса неподвижен.

– Уолтер, Уолтер, – проговорила она, задыхаясь.

Тело чуть шевельнулось. Это был только призрак движения – легкий, как дуновение ветра, которого не чувствуешь, только видишь, как оно шевельнуло неподвижную поверхность воды.

– Уолтер, Уолтер, скажи мне что-нибудь.

Глаза медленно раскрылись, словно поднять тяжелые веки стоило ему невероятных усилий, но он не смотрел на нее, он уставился в стену, приходившуюся в нескольких дюймах от его лица. Он заговорил; в голосе, тихом и слабом, можно было угадать улыбку.

– Вот в какой я попал переплет, – сказал он.

Китти затаила дыхание. Ни звука, ни намека на жест, только глаза, темные, холодные, прикованы к белой стене (какие тайны им сейчас открылись?). Китти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику:

– Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять как истукан?

Она стиснула руки. Уоддингтон заговорил с офицером, стоявшим в ногах постели.

– Видимо, они сделали все, что могли. При нем был полковой врач. Его обучил ваш муж. Он сделал все то же, что доктор Фейн сам бы сделал.

– Это и есть врач?

– Нет, это полковник Ю. Он не отходит от вашего мужа.

Китти бросила на него отчаянный взгляд. Он был высокого роста, крепкого сложения, защитная форма казалась ему тесна. Он смотрел на Уолтера, и она заметила в его глазах слезы. У нее защемило сердце. С какой стати у этого чужого человека с круглым желтым лицом глаза полны слез? Это невыносимо.

– Какой ужас, что ничего нельзя сделать.

– Сейчас он хотя бы уже не страдает, – сказал Уоддингтон.

Она опять склонилась над мужем. Его пугающие глаза по-прежнему смотрели прямо вперед. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы к его уху.

– Уолтер, чего тебе дать?

Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она видела, что лицо его ссохлось. Он был неузнаваем. Немыслимым казалось, что за каких-нибудь несколько часов он стал настолько непохож на себя. Он вообще не был похож на человека: не человек, а сама смерть. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Она пригнулась ближе.

– Не суетись. Было скверно, очень скверно, а сейчас ничего.

Китти ждала, что он еще скажет, но он молчал. Самое страшное, что он лежит так тихо, точно уже приготовился к молчанию могилы. Подошел какой-то человек, санитар или врач, и жестом велел ей отойти, а сам, склонившись над умирающим, обтер мокрой тряпкой его губы. Китти еще раз шепотом воззвала к Уоддингтону:

– И никакой, никакой надежды?

Он покачал головой.

– Сколько он еще может прожить?

– Точно не скажешь. Может быть, час.

Китти обвела глазами голую комнату, и взгляд ее остановился на внушительной фигуре полковника Ю.

– Можно мне побыть с ним вдвоем? – спросила она. – Совсем недолго, всего минуту.

– Разумеется.

Уоддингтон подошел к полковнику и поговорил с ним. Тот поклонился и вполголоса отдал приказ.

– Мы будем за дверью, – сказал Уоддингтон, выходя с остальными. – Если что, позовите.

Теперь, когда неотвратимое завладело ее сознанием, как наркотик, разлившийся по жилам, когда она уже не сомневалась, что Уолтер умрет, у нее осталось одно желание – облегчить ему последние минуты, выдернув из его души отравленную занозу старой обиды. Ей казалось, что если он перед смертью помирится с нею, то помирится и с самим собой. Она думала не о себе, только о нем.

– Уолтер, умоляю, прости меня, – сказала она. Из опасения сделать ему больно она его не касалась. – Я так перед тобой виновата. Я так горько раскаиваюсь.

Он молчал. Как будто не слышал. Она не сдавалась. Ей чудилось, что его душа – как бабочка, что бьется о стекло, и крылья ее отяжелели от ненависти.

– Милый.

Тень прошла по землистому, изможденному лицу. Лицо даже не шевельнулось, но ей показалось, что его свела судорога. Никогда еще она так к нему не обращалась. Может быть, в его угасающем мозгу мелькнула мысль, смутная, почти неуловимая, что раньше она употребляла это слово не думая, относя его к собакам, к детям, к автомобилям. А потом случилось самое страшное. Она сжала руки, изо всех сил стараясь сдержаться: две слезы медленно поползли по его исхудалым щекам.

– О дорогой мой, родной, если ты когда-нибудь меня любил, а ты любил меня, я знаю, и я так ужасно с тобой поступила – прости меня. Я уже не смогу доказать тебе, как я раскаиваюсь. Сжался надо мной. Прости меня, умоляю.

И умолкла. Смотрела на него не дыша, страстно ждала ответа. И вот он попытался заговорить. Сердце ее подскочило. Да, она искупит все страдания, которые причинила ему, если сейчас, в последнюю минуту, ей удастся освободить его от груза застарелой злобы. Губы его дрогнули. Он не смотрел на нее. Невидящие глаза упирались в белую стену. Она наклонилась, чтобы лучше слышать. Но он произнес совершенно отчетливо:

– Собака околела.

Она застыла, словно обратилась в камень. Ничего не поняв, смотрела на него в горестной растерянности. Это бессмыслица. Бред. Он не понял ни единого ее слова.

Не может быть, чтобы человек был так неподвижен – и все-таки жив. Она ждала. Глаза у него открыты. Дышит или нет – не понять. Ей стало тревожно.

– Уолтер, – шепнула она. – Уолтер.

Она рывком поднялась, внезапно охваченная страхом. Повернулась и пошла к двери.

– Подите сюда, пожалуйста. Он, кажется, не...

Они вошли. Врач-китаец приблизился к постели, зажег электрический фонарик и осветил Уолтеру в глаза. А потом закрыл их. Сказал что-то по-китайски. Уоддингтон обнял Китти за плечи.

– Умер.

Китти глубоко вздохнула. Несколько слезинок скатилось по щекам. Это было не потрясение, какая-то оторопь нашла на нее. Китайцы стояли кучкой, с беспомощным видом, словно не зная, что делать дальше. Уоддингтон молчал. Потом китайцы стали тихо переговариваться.

– Давайте я провожу вас домой, – сказал Уоддингтон. – Его перенесут туда.

Китти устало провела рукой по лбу. Подошла к постели, наклонилась, осторожно поцеловала Уолтера в губы. Она уже не плакала.

– Простите, что доставила вам столько хлопот.

Военные отдали честь, она с достоинством им поклонилась. Они снова пересекли один двор, потом другой и сели в паланкины. Уоддингтон закурил. Дымок папиросы растаял в воздухе – вот она, человеческая жизнь!

64

Уже светало, кое-где китайцы открывали свои лавки, убирали ставни. В темном закутке при свете свечи умывалась женщина. В чайном домике на углу закусывала группа рабочих. Серый, холодный утренний свет крался по узким улочкам, как вор. На реке лежал белесый туман, мачты джонок пронзали его, как копья призрачных воинов. На воде было холодно, Китти закуталась в свою веселую цветастую шаль. На безоблачном небе взошло солнце. Оно светило как всегда, как будто ничего не случилось и этот день был как все остальные.

– Вам бы прилечь? – сказал Уоддингтон, когда они вошли в дом.

– Нет, я посижу у окна.

За прошедшие недели она сидела здесь так часто и долго, глаза ее так привыкли к сказочному, прекрасному и загадочному храму на городской стене, что зрелище это навевало покой. Но даже в трезвом свете дня оно казалось таким нереальным, что отвлекало мысли от действительности.

– Я скажу бою, чтобы подал вам чай. Похоронить его, к сожалению, придется сегодня же. Я обо всем договарюсь.

– Спасибо.

65

Три часа спустя его хоронили. Китти покорило, что его положили в громоздкий китайский гроб, она не могла отделаться от чувства, что ему будет неудобно, но выбора не было. Монахини, узнав о смерти Уолтера, как они узнавали обо всем, что творилось в городе, прислали с посылным крест из георгинов, парадный и казенный, словно сделанный опытными руками в цветочном магазине, и этот крест на голой крышке китайского гроба выглядел нелепо, не у места. Когда все было готово, пришлось еще подождать полковника Ю – он прислал к Уоддингтону солдата передать, что желает присутствовать на похоронах. Он прибыл в сопровождении адъютанта. Шестеро кули внесли гроб на склон холма, к небольшому участку, где покоилось тело миссионера, которого сменил Уолтер. Среди пожитков последнего Уоддингтон нашел английский молитвенник и теперь тихим голосом и явно смущаясь, что было ему так несвойственно, прочитал заупокойную службу. Возможно, что, произнося эти торжественные, но грозные слова, он думал о том, что, если сам в свой черед падет жертвой эпидемии, прочесть их над ним будет уже некому. Гроб опустили в могилу, могильщики стали забрасывать его землей.

Полковник Ю, стоявший у могилы обнажив голову, надел фуражку, почтительно отдал честь Китти, простился с Уоддингтоном и отбыл, сопровождаемый адъютантом. Кули еще потолкались на месте – им любопытно было поглядеть на христианские похороны, – потом забрали свои веревки и не спеша поплелись восвояси. Китти и Уоддингтон дождались, пока могилу засыплут, и на холмик, пахнувший свежей землей, положили крепко связанные в крест георгины монахинь. Китти не плакала, но, когда по крышке гроба застучали первые комья земли, чуть не застонала от горя.

Она заметила, что Уоддингтон ее дожидается.

– Вы торопитесь? – спросила она. – Не хочется мне сразу возвращаться в дом.

– Я совершенно свободен, целиком в вашем распоряжении.

66

Они добрались по дороге до вершины холма, где стояли ворота, этот памятник безутешной вдове, занявший такое значительное место в здешних впечатлениях Китти. Это был символ, но что он символизировал – неизвестно, и непонятно было, почему ей мерещилась в нем такая злая ирония.

– Посидим? Мы так давно здесь не были. – Равнина привольно раскинулась перед ней, тихая, безмятежная под безоблачным небом. – Всего несколько недель я здесь прожила, а кажется – целую жизнь.

Он не ответил, и она помолчала, задумавшись. Потом вздохнула и спросила:

– Как вы думаете, душа бессмертна?

Он, казалось, не удивился ее вопросу.

– Откуда мне знать?

– Час назад, когда Уолтера обмывали, я смотрела на него. На вид он был совсем молодой, таким рано умирать. Помните того нищего, которого мы видели, когда вы в первый раз выгнали меня погулять? Я тогда испугалась не потому, что он был мертвый, а что выглядел так, будто никогда и не был человеком. Просто мертвое животное. А Уолтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли, душевные муки!

Не отвечая, он бродил взглядом по широкому ландшафту, расстилавшемуся у их ног. Бескрайний простор в это солнечное утро наполнял сердце ликованием. Аккуратные квадратики рисовых полей тянулись вдаль сколько хватал глаз, на многих из них копошились фигурки – буйволы, крестьяне в синей одежде. Мирная, счастливая картина. Китти нарушила молчание:

– Не могу вам выразить, как меня взволновало то, что я увидела в монастыре. Эти монахини – поразительные женщины, перед ними я чувствую себя полным ничтожеством. Они от всего отказались, бросили все: дом, родину, любовь, детей, свободу; и все те мелочи, от которых отказаться, может быть, еще труднее, – цветы и зеленые луга, прогулки осенним днем, книги, музыку, комфорт – на всем поставили крест. И ради чего? Что их ждет взамен? Жизнь, полная самопожертвования и лишений, послушание, изнуряющая работа и молитва. Этот мир для них поистине место изгнания. Жизнь – крест, который они несут добровольно, но в сердце их не умирает ожидание – да что там, это куда сильнее – не ожидание, а страстное желание смерти, которая откроет перед ними жизнь бесконечную.

Китти стиснула руки в горестном недоумении.

– И что же?

– А если «жизни бесконечной» нет? Подумайте, что это значит, если со смертью действительно кончается все? Они от всего отказались – и не получили ничего. Их обманули. Одурачили.

Уоддингтон ответил не сразу.

– Вот не знаю. Не знаю, так ли уж это важно, что их высокая цель оказалась иллюзией. Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удастся прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это – самое высокое произведение искусства.

Китти вздохнула. Его рассуждения показались ей сухими. Ей было этого мало.

– Вы бывали на симфонических концертах? – продолжал он.

– Бывала, – улыбнулась она. – В музыке я мало что смыслю, но слушать очень люблю.

– Каждый музыкант в оркестре играет на своем инструменте, и много ли ему известно о тех сложных гармониях, что из этого рождаются? Он играет только свою, порой очень скромную партию. Но он знает, что симфония чудесна, чудесна, даже если никто ее не слышит, и он доволен тем, что в ней участвует.

– Вы как-то говорили о Дао, – сказала Китти. – Объясните мне, что это такое.

Уоддингтон кинул на нее быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой:

– Это Путь и Путник. Это вечная дорога, по которой движется все живое, но ее никто не создал, ибо она сама – живая. Она все и ничто. От нее все возникает, ей подчиняется и к ней в конечном счете возвращается. Это квадрат без углов, звук, не слышимый уху, образ без формы. Это необъятная сеть, и, хотя ячейки ее огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно – нигде, но его можно увидеть и не выглянув из окна. Не желай желать, учит оно, предоставь всему идти своими путями. Смиряющийся будет сохранен. Сгибающийся будет выпрямлен. Неудача – основа успеха, а в успехе таится зародыш неудачи; но кто скажет, когда одно сменится другим? Стремящийся к нежности может уподобиться малому ребенку. Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могуществен тот, кто одолеет себя.

– А это что-нибудь значит?

– Когда вольешь в себя стаканчиков десять и смотришь на звезды, иногда кажется, что как будто и значит.

Наступило молчание, и опять его нарушила Китти:

– Скажите, «Собака околела» – это цитата?

Уоддингтон улыбнулся и уже готов был ответить. Но возможно, что в эту минуту восприятие его было обострено больше обычного. Китти не смотрела на него, но что-то в ее лице заставило его поостеречься.

– Не знаю, – ответил он. – Вполне возможно. А что?

– Так. Просто вспомнилось. Как будто что-то знакомое.

И снова молчание.

– Когда вы остались наедине с вашим мужем, – заговорил Уоддингтон, – я побеседовал с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности.

– И что же?

– Он был очень возбужден. Я, возможно, неправильно его понял. Насколько я мог разоб-
брать, ваш муж заразился во время какого-то эксперимента.

– Он все время ставил эксперименты. Ведь он был не практикующим врачом, а бактериологом. Потому ему так и хотелось сюда попасть.

– Но я не понял вот чего: то ли он заразился нечаянно, то ли сознательно экспериментировал на себе.

Китти сильно побледнела. Мысль эта привела ее в содрогание. Уоддингтон коснулся ее руки.

– Простите, что возвращаюсь к этому, – сказал он мягко. – Я подумал, может быть, это послужит вам утешением... в таких случаях ужасно трудно сказать что-то нужное... я подумал, что для вас это важно – знать, что Уолтер умер на посту, как мученик за науку.

Китти пожала плечами и ответила чуть раздраженно:

– Уолтер умер от разбитого сердца.

Уоддингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо ее было бледно, сосредоточенно.

– Почему он сказал «Собака околела»? Откуда это?

– Это последняя строка «Элегии» Голдсмита¹⁸.

¹⁸ У английского поэта, драматурга и романиста Оливера Голдсмита (1728–1774) есть хрестоматийно известная «Элегия на смерть бешеной собаки» – шуточное стихотворение о том, как человека укусила бешеная собака и все прочили ему близкую смерть. Но случилось чудо – так заканчивается стихотворение: «Укушенный остался жив, собака околела». (Перевод Б. Рогова.)

67

На следующее утро Китти отправилась в монастырь. Девочка, открывшая ей дверь, как будто удивилась, увидев ее, а через несколько минут в комнате, где она приступила к своим занятиям, появилась настоятельница, подошла к ней и взяла ее за руку.

– Я рада вас видеть, дитя мое. Это очень мужественно с вашей стороны – прийти сюда так скоро после постигшего вас несчастья – и очень разумно: я уверена, что работа отвлечет вас от тяжелых мыслей.

Китти потупилась и покраснела; ей не хотелось, чтобы настоятельница читала в ее сердце.

– Нечего и говорить о том, как мы все вам сочувствуем.

– Вы очень добры, – прошептала Китти.

– Все мы за вас молимся Господу, за вас и за душу того, кого вы потеряли.

Китти не ответила. Настоятельница отпустила ее руку и, как всегда, спокойным, непрекаемым тоном поручила ей кое-какую работу. Погладила по головке двух-трех малышей, улыбнулась им своей ласковой, но отрешенной улыбкой и ушла, куда призывали ее более срочные дела.

68

Прошла неделя. Китти сидела за шитьем. Вошла настоятельница и, подсев к ней, внимательно разглядела ее рукоделие.

– Вы очень хорошо шьете, дитя мое. Среди молодых женщин вашего круга это сейчас редкий талант.

– У меня мать прекрасная рукодельница.

– Вот будет радость для вашей мамы опять с вами свидеться.

Китти подняла голову. Что-то было в манере настоятельницы, что не позволяло принять ее слова как простое проявление вежливости. А она продолжала:

– Я разрешила вам приходить сюда после смерти вашего мужа, полагая, что это отвлечет ваши мысли. Мне казалось, что в то время вам еще не по силам было бы совершить в одиночестве долгий путь в Гонконг, и не хотелось мне, чтобы вы целыми днями сидели одна дома без дела и только думали о своей утрате. Но теперь прошло уже восемь дней. Пора вам и в путь.

– Я не хочу уезжать, *ma mère*. Я хочу остаться здесь.

– Здесь вам незачем оставаться. Вы приехали, чтобы не разлучаться с мужем. Ваш муж скончался. В вашем положении вам скоро потребуется уход и забота, каких здесь не найти. Милое мое дитя, ваш долг – сделать все возможное для благополучия того существа, которое Бог препоручил вашим заботам.

Китти молча понурила голову.

– Мне казалось, что я приношу здесь какую-то пользу. Это ощущение доставляло мне много радости. Я надеялась, что вы разрешите мне работать у вас до конца эпидемии.

– Мы все вам признательны за помощь, – отозвалась настоятельница с легкой улыбкой. – Но сейчас, когда эпидемия пошла на убыль, приезд сюда уже не связан с таким риском, и я жду двух наших сестер из Кантона. Они должны прибыть в ближайшее время, а тогда ваши услуги мне, пожалуй, уже не понадобятся.

У Китти упало сердце. Тон настоятельницы не допускал возражений. Китти уже достаточно ее знала, чтобы понять: никакие мольбы на нее не подействуют. Одно то, что ей пришлось уговаривать Китти, внесло в ее голос нотку если не раздражения, то опасной категоричности.

– Мистер Уоддингтон был так любезен, что спросил моего совета.

– Лучше бы он не совался не в свое дело, – перебила Китти.

– Если бы он и не обратился ко мне, я все равно была бы вынуждена сказать ему мое мнение, – мягко возразила настоятельница. – Сейчас ваше место не здесь, а у вашей матери. Мистер Уоддингтон уже договорился с полковником Ю, он дает вам охрану, так что в пути вы будете в полной безопасности. Уже наняты и кули, и носильщики. С вами поедет служанка, она позаботится о ночлегах. Словом, комфорт вам всячески обеспечен.

Китти стиснула губы. Могли бы, кажется, хоть посоветоваться с нею, ведь все это касается только ее. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответ ее не прозвучал резко:

– И когда же я должна отбыть?

Настоятельница и бровью не повела.

– Чем скорее вы вернетесь в Гонконг, а оттуда отплывете в Англию, тем лучше, дитя мое. Мы решили, что вам удобно будет пуститься в дорогу послезавтра рано утром.

– Уже?!

Китти чуть не заплакала. Но они правы: здесь она лишняя.

– Все вы, как видно, очень спешите от меня отделаться, – сказала она уныло.

И сразу уловила в манере настоятельницы какое-то облегчение. Поняв, что Китти готова сдаться, та бессознательно перешла на более милостивый тон. Чувство юмора часто выручало Китти, и теперь глаза ее весело блеснули при мысли, что и святые любят поставить на своем.

– Не подумайте, что мы не ценим вашу доброту, дорогая, и похвальное сострадание, в силу которого вы так неохотно расстаетесь с добровольно взятыми на себя обязанностями.

Китти, глядя прямо перед собой, слегка повела плечами. Она знала, что таких высоких добродетелей за ней не водится. Остаться ей хотелось потому, что некуда было ехать. Странное это чувство, что во всем мире нет человека, которому не было бы безразлично, жива она или умерла.

– Я даже не понимаю, почему вам так не хочется вернуться на родину, – дружелюбно продолжала настоятельница. – Здесь, в Китае, есть немало иностранцев, которые много бы дали за такую возможность.

– Но вы не из их числа, ма тèmе?

– Ну мы – это другое дело. Мы, когда уезжаем сюда, знаем, что расстанемся с родиной навсегда.

Оттого, что ей самой было грустно и больно, у Китти возникло желание – недоброе желание отыскать щелку в той броне религии, что так надежно защищала монахинь от всех естественных человеческих чувств. Захотелось проверить, неужели в настоятельнице не осталось ничего от слабости, присущей всем обыкновенным людям.

– Я-то думала, хоть изредка, наверно, становится тяжело, когда вспомнишь, что никогда больше не увидишь дорогих тебе людей и те места, где прошло твое детство.

Настоятельница ответила не сразу, но Китти, наблюдая за ней, не заметила ни малейшей перемены в безмятежном выражении ее прекрасного строгого лица.

– Это тяжело для моей матери, ведь я у нее единственная дочь, а она уже старая, и, конечно, самое заветное ее желание – еще раз повидать меня перед смертью. Мне жаль, что я не могу доставить ей эту радость. Но этому не бывать, так что подождем того часа, когда свидимся с нею в раю.

– И все-таки, как подумаешь о тех, кто тебя любит, невольно задаешься вопросом, правильно ли было порывать с ними всякую связь.

– Вы хотите знать, жалею ли я когда-нибудь о своем поступке? – Лицо настоятельницы внезапно преобразилось. – Никогда, никогда! Я отказалась от никчемной, пошлой жизни ради другой, посвященной самопожертвованию и молитве. – После короткой паузы она продолжала уже не так торжественно: – Я попрошу вас захватить с собой посылочку и отправить ее почтой из Марсея. Не хотелось бы вверять ее китайской почтовой службе. Сейчас принесу.

– Вы можете дать мне ее завтра, – сказала Китти.

– Завтра, дитя мое, вы будете так заняты, что и побывать здесь не успеете. Лучше уж мы простимся сегодня.

Она поднялась и с непринужденной грацией, которую не могли скрыть даже тяжелые складки ее одежды, выплыла из комнаты. А тут явилась сестра Сен-Жозеф. Она пришла проститься. Надеется, что Китти доберется благополучно. Опасности никакой, ведь полковник Ю обещал ей сильную охрану. Сестры то и дело ездят этим путем поодиночке, и никогда с ними ничего не случается. А море она любит? Mon Dieu, как же ей было плохо во время шторма в Индийском океане! А как ее мать обрадуется, и пусть бережет себя, ей теперь надо думать и о ребеночке. Все они будут за нее молиться, и она будет молиться и за нее, и за ребеночка, и за душу бедного храброго доктора. Она говорила без умолку, приветливая, ласковая; а между тем Китти чувствовала, что для сестры Сен-Жозеф все измеряется вечностью, а сама она, Китти, всего лишь бесплотный, бестелесный дух. Ее так и подмывало схватить толстую добродушную монашенку за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть: «Неужели вам невдомек, что я – живая женщина, несчастная, одинокая, что меня нужно утешить, подбодрить? Неужели вы

ни на минуту не можете забыть о Боге, уделить мне немножко сочувствия? Не того христианского сочувствия, которое у вас припасено для всех страждущих, а простого, человеческого, личного?»

Китти даже улыбнулась. Вот удивилась бы сестра Сен-Жозеф, если б могла прочесть ее мысли! Уж наверняка решила бы, что все англичане сумасшедшие, она давно это подозревала!

– Я, к счастью, отлично переношу качку, – ответила Китти. – Ни разу в жизни не страдала морской болезнью.

Вернулась настоятельница с аккуратным пакетиком в руках.

– Это носовые платки, – сказала она, – подарок моей матери к именинам. Монограммы вышивали наши девочки.

Сестра Сен-Жозеф высказала мнение, что Китти интересно будет посмотреть, какая это искусная работа, и настоятельница, снисходительно улыбаясь, развернула пакет. Платки были из тончайшего батиста, над замысловатой монограммой вышита корона из земляничных листьев. Когда Китти, как от нее и ожидали, рассыпалась в похвалах, платки были снова завернуты и вручены ей. Сестра Сен-Жозеф, еще раз повторив свои вежливо-безличные напутствия, удалилась со словами: «Eh bien, Madame, je vous quitte», и Китти поняла, что пришло время проститься с настоятельницей. Она поблагодарила за все, что было для нее сделано. Вместе они пустились в путь по голым выбеленным коридорам.

– Вас не затруднит послать этот пакет заказным из Марсея? – спросила настоятельница.

– Что вы, конечно, нет, – ответила Китти.

Она взглянула на адрес. Фамилия выглядела очень внушительно, но ее больше заинтересовало название места.

– Да ведь это один из тех замков, которые мы осматривали! Я как-то совершила с друзьями автомобильную поездку по Франции.

– Вполне возможно. Он открыт для обозрения два раза в неделю.

– Если б я жила в таком изумительном месте, у меня ни за что не хватило бы духу оттуда уехать.

– Это, конечно, известный памятник архитектуры. Но жить в нем неудобно. Если бы я о чем-нибудь жалела, так не об этом замке, а о другом, маленьком, где я жила ребенком. Он находится в Пиренеях. Там день и ночь шумит море. Не скрою, порой мне хочется услышать, как волны разбиваются о скалы.

Китти почудилось, что настоятельница, угадав, какими мыслями подсказано ее последнее замечание, лукаво над нею подтрунивает. Но они уже дошли до узкой, скромной наружной двери. К великому удивлению Китти, настоятельница обняла ее и поцеловала сначала в одну щеку, потом в другую. Это было так неожиданно, что Китти залилась краской и чуть не расплакалась.

– Прощайте, мое милое дитя. Да благословит вас Бог. – Она на минуту прижала Китти к груди. – Помните, исполнять возложенные на вас обязанности – это еще мало, это не более похвально, чем омыть руки, когда они грязные. Что действительно важно – это исполнять свой долг с любовью. Когда долг и любовь будут слиты воедино, вот тогда на вас снизойдет благодать и вы познаете радость несказанную.

Дверь монастыря закрылась за нею в последний раз.

Уоддингтон проводил Китти до вершины холма; по дороге они ненадолго свернули к могиле Уолтера. Они простились у мемориальных ворот, и Китти, взглянув на них в последний раз, почувствовала, что может ответить на их загадочную иронию такой же иронией, своей собственной. Она села в паланкин.

Один день сменялся другим. Окружающие картины служили фоном для ее мыслей. Каждую из них она видела как бы удвоенной, заключенной в круг, как в стереоскопе, и по-новому значительной, потому что ко всему, что она видела сейчас, добавлялось воспоминание о том, что она видела за неполных два месяца до того, когда проделывала тот же путь в обратном направлении. Кули со своими ношами растягивались по дороге – то шли парами, тройками, то какой-нибудь один отставал и к нему примыкали еще двое; солдаты из охраны шагали вразвалку, со скоростью, рассчитанной на двадцать пять миль в день; служанку несли два носильщика, а Китти – четыре, не потому, что она была тяжелее, а чтобы не уронить ее достоинство. Навстречу двигалась то вереница тяжело нагруженных кули, то чиновник-китаец в портшезе, бросавший на белую женщину испытующие взгляды; шли на рынок крестьяне в синих рубашках и огромных шляпах, семенили забинтованными ногами женщины, то молодые, то старые. На пологих подъемах и спусках проплывали мимо квадратики рисовых полей, крепкие крестьянские дома, приютившиеся в бамбуковых рощах; проплывали нищие деревушки и людные города, окруженные стеной, как на картинках в старинном требнике. Солнце уже не палило, как в разгаре лета; на заре, когда поля в неверном предутреннем свете мерцали как сказочные, было холодно, и тем приятнее потом казалось тепло. Оно наполняло Китти тихим блаженством, которому она и не пыталась противиться.

Эти яркие картины, такие изысканные по краскам, поражающие своим изяществом и своеобразием, были как гобелен, на фоне которого, подобные призракам, плясали загадочные тени, порожденные ее воображением. Они казались совершенно нереальными. Мэй-дань-фу с его зубчатыми стенами вспоминался как раскрашенный холст в старинной пьесе, где сцена должна изображать город. Монахини, Уоддингтон и маньчжурская принцесса, которая его любит, – персонажи в старинной пантомиме; а остальные – те, что крались по узким улочкам, и те, что умирали, – как безымянные статисты. Конечно, все это что-то значит, но что именно? Все они словно исполняют ритуальный танец, сложный и древний, и знаешь, что эти замысловатые телодвижения полны смысла, который очень важно понять, но ключа к разгадке нет и нет.

Китти казалось невероятным (по дороге шла старая женщина в синем, синее под солнцем блестело как лазурит, лицо ее, изборожденное мелкими морщинками, было как маска потемневшей слоновой кости; она шла, мелко перебирая крошечными ножками и опираясь на большой черный посох), казалось невероятным, что еще недавно она и Уолтер тоже участвовали в этом странном, непонятном танце, и притом исполняли в нем важные роли. Она вполне могла умереть, а он и вправду умер. Это не шутки. Может, это всего лишь сон, от которого она внезапно проснется со вздохом облегчения? Все это будто случилось очень давно, где-то очень далеко. Удивительно, какими призрачными кажутся персонажи этой пьесы на солнечном фоне действительной жизни. А временами Китти казалось, что она читает про все это в книжке и удивляется, почему судьба героев так мало ее трогает. Даже лицо Уоддингтона, такое, казалось бы, знакомое, она уже не могла припомнить отчетливо.

Сегодня к вечеру они прибудут в город на Западной реке, где она сядет на пароход. А оттуда всего одна ночь до Гонконга.

Сперва ей было стыдно, что она не плакала, когда Уолтер умер. Такая бессердечность! Ведь даже у этого китайца полковника Ю глаза были полны слез! Смерть мужа ошеломила ее. Не укладывалось в голове, что он больше никогда не войдет в комнату, никогда она не услышит, как рано утром он моется в деревянной китайской ванне. Был живой человек – и нет его. Монашенки ахали над ее христианским смирением, восхищались тем, как мужественно она несла свою утрату. Уоддингтон – тот более прозорлив. От нее не ускользнуло, что при самом искреннем сочувствии он в душе все же чуточку над ней подсмеивался. Конечно же, смерть Уолтера была для нее ударом. Она не хотела, чтобы он умер. Но и то сказать, ведь она его не любила, никогда не любила. Держаться с подобающим случаю печальным видом – этого требовали приличия; некрасиво, даже вульгарно было бы посвятить кого-нибудь в свои чувства; но притворяться перед самой собой она не могла, слишком много ей пришлось пережить. Ей казалось, что хотя бы этот урок она извлекла из опыта последних месяцев – что, если бывает иногда необходимо солгать другим, лгать самой себе всегда отвратительно. Ей было жаль, что Уолтер умер при таких трагических обстоятельствах, но жаль чисто по-человечески, как если бы речь шла о любом знакомом человеке. Да, у него было много неоспоримых достоинств, горе в том, что ей он не нравился, он всегда нагонял на нее скуку. Не то чтобы его смерть явилась для нее облегчением; она не покривив душой могла сказать, что если бы одно ее слово могло вернуть его к жизни, она бы произнесла это слово; но было и смутное чувство, что с его смертью ей самой жить стало в каком-то смысле полегче. Вместе они никогда не были бы счастливы, а расстаться было бы страшно трудно. Такие мысли пугали ее: всякий, кто узнал бы о них, наверняка счел бы ее бессердечной, жестокой. Ну так никто не узнает. Возможно, что каждый хранит в сердце какую-нибудь позорную тайну и всю жизнь только и делает, что старается уберечь ее от посторонних глаз.

В будущее она особенно не заглядывала, никаких планов не строила. Знала одно – что в Гонконге хочет провести как можно меньше времени. О возвращении туда она не могла думать без ужаса. Уж лучше бы странствовать без конца в паланкине по этим светлым, приветливым краям и, равнодушно взирая на фантазмагорию жизни, каждую ночь проводить под новой крышей. Однако следовало все же обдумать хотя бы ближайшее будущее. В Гонконге она остановится в гостинице, надо разделаться с домом, заняться продажей мебели. С Таунсендом можно вообще не встречаться. У него хватит такта не попадаться ей на глаза. А все-таки один раз хотелось бы его повидать – только чтобы сказать ему, сколь невысокого она о нем мнения.

Но какое ей дело до Чарли Таунсенда?

Как полнозвучная мелодия арфы порой покрывает ликующим арпеджио сложные гармонии оркестра, так одна мысль неумолчно звучала в ее сердце. Эта-то мысль придавала экзотическую красоту крестьянским полям, вызывала на ее бледных губах улыбку, когда проходил по дороге на рынок безусый юнец с горделивой осанкой и дерзким взглядом, населяла попутные города колдовской круговертью жизни. Охваченный эпидемией город был тюрьмой, из которой она вырвалась, и новой, неведомой доселе стала синева небес и прелесть бамбуковых рощ, с неподражаемой грацией склонившихся над дорогой. Свободна! Вот мысль, которая пела в ее сердце, так что будущее, хоть и было темно, искрилось, как туман над рекой под первыми лучами солнца. Свободна! Свободна не только от докучных цепей и тех уз, что не давали дышать полной грудью; и не только от смертельной опасности, нависавшей над ней, но и от любви, ее унижившей; свободна от всяческих духовных связей, свободна, как бесплотный дух. А свобода означала и мужество, и готовность стойко встретить все, что бы еще ни ждало ее в жизни.

71

Когда пароход бросил якорь в Гонконге, Китти, до тех пор стоявшая на палубе, откуда любовалась оживленным движением в гавани, вернулась в каюту проверить, не забыла ли служанка что-нибудь уложить. На ходу она погляделась в зеркало. Платье на ней было черное (это монашенки перекрасили), но не траурное, и мелькнула мысль, что нужно будет сразу же этим заняться. Траур послужит эффектным прикрытием для ее крамольных настроений. В дверь каюты постучали. Служанка открыла.

– Миссис Фейн!

Китти обернулась и увидела лицо, которого в первое мгновение не узнала. Потом сердце ее подскочило, и она вспыхнула. Дороти Таунсенд! Это было так неожиданно, что она не знала, как быть, что сказать. Но миссис Таунсенд переступила порог и для начала крепко ее обняла.

– О моя дорогая, я вам так сочувствую!

Китти дала себя поцеловать. Ее немного удивила такая экспансивность в женщине, которую она всегда считала сухой и надменной.

– Вы очень добры, – проговорила она еле слышно.

– Пойдемте на палубу. Ама позаботится о вещах, а я привела своих боев.

Она взяла Китти за руку, и Китти, покорно следуя за ней, увидела, что ее доброе загорелое лицо выражает искреннюю озабоченность.

– Ваш пароход пришел раньше времени, – сказала миссис Таунсенд. – Я чуть не опоздала. Я бы не простила себе, если б мы разминулись.

– Неужели вы приехали меня встретить? – воскликнула Китти.

– Ну разумеется.

– Но откуда вы знали, когда я приеду?

– Мистер Уоддингтон известил меня телеграммой.

Китти отвела глаза. К горлу подступил комок. Странно, что этот неожиданный знак внимания так на нее подействовал. Она боялась расплакаться, ей хотелось, чтобы Дороти Таунсенд ушла. Но Дороти взяла ее руку и ласково пожала. И то, что эта сдержанная женщина не постеснялась проявить свои чувства, смутило ее.

– У меня к вам большая просьба. Мы с Чарли очень хотели бы, чтобы вы поселились у нас на то время, пока будете в Гонконге.

Китти вырвала руку.

– Это очень любезно с вашей стороны, но я не могу.

– Что вы, я этого и слышать не хочу. Как вы будете жить одна в своем доме? Вы там изведетесь. Я уже все приготовила. У вас будет свой будуар. Обедать и завтракать можете там, если не захочется приходить в столовую. Мы оба вас приглашаем.

– Я не собиралась ехать к себе. Я хотела снять номер в отеле «Гонконг». Не могу я подвергать вас таким неудобствам.

Предложение Дороти застало ее врасплох. Она была сбита с толку и раздосадована. Будь у Чарли хоть малейшее чувство приличия, он не разрешил бы жене пригласить ее. Не желает она быть обязана ни ему, ни ей.

– О нет, о гостинице бросьте и думать. А уж отель «Гонконг» вам был бы сейчас просто противен. Там столько народу, с утра до ночи музыка. Ну пожалуйста, скажите, что согласны. Мы с Чарли не будем вам мешать, обещаю.

– Не знаю, чем я заслужила такую любезность. – У Китти уже истощались доводы, а отказаться наотрез она не решалась. – Боюсь, я сейчас малоподходящая компания для посторонних людей.

– Но разве мы для вас посторонние? О, мне бы так этого не хотелось, мне так хотелось бы, чтобы вы позволили мне быть вашим другом. – Дороти стиснула руки, и в ее голосе, ее спокойном, светском, воспитанном голосе, послышались слезы. – Мне так хочется, чтобы вы согласились. Понимаете, мне нужно загладить мою вину перед вами.

Китти не поняла. Чем провинилась перед ней жена Чарли?

– Дело в том, что сначала вы мне не очень понравились. Показались мне немножко легкомысленной. Я, понимаете, воспитана в старых правилах, и меня можно назвать нетерпимой.

Китти искоса взглянула на нее. Слова Дороти означали, что сначала она сочла Китти вульгарной. Лицо у Китти не дрогнуло, но в душе она посмеялась. Какое ей теперь дело до того, кто как о ней судит!

– А когда я узнала, что вы без минуты колебания уехали с мужем навстречу смертельной опасности, я почувствовала себя такой свиньей. Мне стало так стыдно. Вы поступили так смело, так благородно, что все мы тут оказались по сравнению с вами сплошной посредственностью. – По ее доброму, простому лицу уже катились слезы. – Не могу выразить, как я вами восхищаюсь, как уважаю вас. Я знаю, что бессильна утешить вас в вашем страшном несчастье, но хочу, чтобы вы знали, как искренне и глубоко я вам сочувствую. И для меня была бы такая радость вам помочь. Не сердитесь на меня за то, что неверно о вас судила. Вы героиня, а я всего лишь глупая женщина.

Китти упорно не поднимала глаз от настила палубы. Она была очень бледна. Ну к чему эти безудержные излияния? Да, все это очень трогательно, но досада берет, как подумаешь, что эта простушка верит в такие небылицы. Наконец она вздохнула:

– Что ж, если вам правда так хочется меня приютить, спасибо.

Таунсенды жили на Вершине, в доме с широким видом на море, и Чарли, как правило, не приезжал домой завтракать; но в день ее приезда Дороти (они уже звали друг друга по имени) сказала, что, если Китти хочется его повидать, он будет рад заглянуть домой. Китти подумала, что, раз встреча все равно неизбежна, можно повидаться и сразу, и, невесело усмехаясь в душе, представляла себе, как неловко ему будет с ней встретиться. Она отлично понимала, что идея пригласить ее исходила от Дороти, а он, что бы ни думал про себя, горячо ее поддержал. Китти знала, как он всегда стремился угождать мнению света, а проявив сейчас гостеприимство, он мог как нельзя лучше этому мнению угодить. Но вспоминать их последний разговор едва ли было ему приятно: для такого тщеславного человека этот разговор должен был остаться незаживающей ссадиной. Надо надеяться, что она причинила ему такую же боль, как он ей. Теперь он ее, наверно, ненавидит. Хорошо, что у нее самой нет к нему ненависти, а только презрение. И злобную радость доставляла мысль, что ему предстоит забыть о своих чувствах и оказывать ей радушное внимание. Когда она в тот день вышла из его кабинета, он, наверно, мечтал об одном – никогда больше ее не видеть.

И вот она сидела у Дороти и ждала его появления. Она упивалась строгой роскошью хозяйской гостиной. Глубокие кресла, вазы с чудесными цветами, картины на стенах радуют глаз. Комната тенистая, прохладная. Она поежилась, вспомнив голую, пустую гостиную в доме миссионера, плетеные кресла и кухонный стол под холщовой скатертью, обшарпанные полки с книгами в дешевых изданиях и куцые красные занавески, словно пропитанные пылью. Ох, как там было неуютно! Дороти, наверно, и представить себе такого не может.

К дому подъехала машина. В комнату большими шагами вошел Чарли.

– Опоздал? Я вас, надеюсь, не заставил ждать? Раньше никак не мог вырваться, меня вызывал к себе губернатор.

Он подошел к Китти и пожал ей обе руки.

– Я очень, очень рад, что вы здесь. Дороти, конечно, вам сказала, что мы просим вас пожить у нас сколько захочется, считать этот дом своим. Но я и сам хочу это повторить. Если я хоть чем-нибудь могу вам быть полезен, скажите слово, я буду счастлив. – Он смотрел на нее с подкупающей искренностью, а она думала, замечает ли он в ее взгляде насмешку. – Не умею я говорить высокие слова, а болваном казаться не хочется, но, поверьте, я всей душой вам сочувствую. Ваш муж был молодец каких мало, здесь всем его будет не хватать.

– Довольно, Чарли, – остановила его жена, – Китти все понимает... А вот и коктейли.

В согласии с расточительными замашками иностранцев в Китае два ливрейных слуги внесли в комнату закуски и коктейли. Китти пить отказалась.

– Ну хоть один, – уговаривал ее Таунсенд своим бодрым, сердечным тоном. – Вам будет полезно. Ручаюсь, что вы в глаза не видели коктейля с тех пор, как отсюда уехали. В Мэй-дань-фу, если не ошибаюсь, льда не достать.

– Вы не ошибаетесь, – сказала Китти.

На мгновение перед ее мысленным взором возник мертвый нищий у стены их участка – растрепанный, в синих лохмотьях, сквозь которые проглядывало исхудалое тело.

Они пошли в столовую. Чарли, усевшись во главе стола, легко завладел разговором. Покончив с короткими соболезнованиями, он обращался с Китти так, словно она не пережила сокрушительную трагедию, а всего лишь приехала в гости из Шанхая, где ей соперировали аппендицит. Ее требовалось развлечь, и он готов был развлекать ее. Чтобы дать ей почувствовать себя как дома, лучше всего было обращаться с ней как с членом семьи. Он завел речь о пустяках: об осенних скачках, о поло – честное слово, впору бросать поло, если не удастся сбавить вес, – о своем утреннем разговоре с губернатором. Поговорили о приеме, который адмирал устроил на флагманском корабле, о положении в Кантоне, о гольфе в Лушане. Вскоре у Китти уже было такое чувство, будто она отлучалась отсюда на два-три дня, не больше. Уже невероятным казалось, что там, в глубине страны, всего в шестистах милях (столько же, как от Лондона до Эдинбурга?), еще недавно умирали тысячами мужчины, женщины, дети. Скоро она уже поймала себя на том, что расспрашивает о старых знакомых – поправился ли такой-то, ведь он сломал ключицу, когда играл в поло, и уехала ли в Англию миссис А, и будет ли миссис В участвовать в теннисном турнире. Чарли отпускал свои шуточки, и Китти принимала их с улыбкой. Дороти, как всегда немного свысока (только теперь она ставила Китти рядом с собой, так что это было не обидно, а только еще больше сближало их), иронизировала над членами английской колонии. Китти понемногу оживала.

– Смотри-ка, она уже и выглядит получше, – сказал Чарли жене. – Перед завтраком была такая бледная, я даже испугался, а сейчас и щечки порозовели.

А Китти, принимая участие в разговоре если не весело (она знала, что этого не одобрили бы ни Дороти, ни Чарли, великий знаток этикета), то достаточно оживленно, втихомолку поглядывала на хозяина дома. За те долгие недели, что она думала о нем и лелеяла планы мщения, в ее воображении сложился очень яркий образ. Свои густые волнистые волосы он стрижет недостаточно коротко и расчесывает слишком старательно; чтобы скрыть седину, слишком сильно их помадит; лицо у него слишком красное, на щеках сетка мельчайших жилок; челюсть слишком массивная; когда он не задирает голову, видно, что у него двойной подбородок; и в косматых седеющих бровях есть что-то обезьянье, слегка тошнотворное. Движения у него тяжеловесные, и ни диета, ни спорт не уберегли его от полноты: кости затянуло жирком, суставы утратили былую гибкость. И безупречный костюм ему тесноват и выглядит на нем слишком молодо.

Но когда он перед завтраком вошел в гостиную, она испытала настоящее потрясение (потому, наверно, и побледнела). Оказалось, что воображение ее подвело: он был совсем не похож на этот созданный ею образ. Она чуть не рассмеялась над своим заблуждением. Волосы у него вовсе не седые, ну да, есть на висках несколько серебряных волосков, но это ему идет; и лицо не красное, а загорелое; и посадка головы хороша, и не толстый он, и не старый. Наоборот, он даже стройный, фигура отличная – немудрено, что он ею всегда немного гордился, молодой человек, да и только. И носить костюм он, конечно, умеет, смешно было бы это отрицать; и весь вид аккуратный, подтянутый, элегантный. Счастье ее, что она знает, какое он ничтожество. Что голос у него чарующий, она всегда признавала, а голос точно такой, каким она его помнит, потому так и ужасно, что речи его насквозь фальшивы; эти бархатные, теплые ноты – одно притворство, и как только она могла им поверить? А глаза прекрасны, это главное его обаяние: они лучатся таким мягким синим светом и, даже когда он болтает чепуху, выражение у них такое, что устоять почти невозможно.

Наконец завтрак кончился, подали кофе, и Чарли закурил сигару. Потом взглянул на часы и поднялся.

– Ну вот, девочки, я вас покидаю. Мне пора на работу. – И добавил, ласково глядя на Китти: – Денек-другой я дам вам отдохнуть, не буду вас тревожить, а потом намерен побеседовать с вами о делах.

– Со мной?

– Ну да, ведь надо решить, как быть с вашим домом, и о мебели подумать.

– Но я могу обратиться к юристу. Ни к чему нагружать вас еще и этим.

– Не воображайте, что я разрешу вам тратить деньги на юридические консультации. Я сам обо всем позабочусь. Вы ведь имеете право на пенсию. Я поговорю с губернатором, очень возможно, что, если обратиться в соответствующие инстанции, можно выхлопотать для вас побольше. Положитесь на меня. Но торопиться некуда. Пока нам требуется, чтобы вы отдохнули и окрепли, ведь так, Дороти?

– Конечно.

Он кивнул Китти, а проходя мимо стула жены, взял ее руку и поцеловал. Обычно англичанин, когда целует женщине руку, выглядит глуповато, а у него это получилось легко и изящно.

74

Только освоившись немного в доме у Таунсендов, Китти поняла, до чего она устала. Комфорт и непривычные удобства сняли напряжение, в котором она до сих пор жила. Она уже успела забыть, как приятно никуда не торопиться, видеть вокруг себя красивые вещи, быть окруженной вниманием. Со вздохом облегчения она вновь окунулась в бестревожную жизнь богатого Востока. И неплохо было ощущать себя предметом сочувственного интереса, выражаемого тактично и ненавязчиво. Она овдовела так недавно, что устраивать в ее честь какие-нибудь увеселения было нельзя, но самые уважаемые в колонии дамы (супруга губернатора, супруги адмирала и главного судьи) по-дружески заезжали к ней на чашку чая. Ее превосходительство сообщила, что его превосходительство очень хотел бы ее повидать и будет рад, если она приедет как-нибудь позавтракать в губернаторский дом («Не званый завтрак, конечно, только мы и адъютанты!»). Эти леди обращались с Китти, как с фарфоровой чашкой, драгоценной и очень хрупкой. Она видела, что они носятся с ней, как с юной героиней, и у нее хватало ума играть эту роль скромно и сдержанно. Порой ей хотелось, чтобы рядом оказался Уоддингтон: уж он-то, такой лукавый и прозорливый, оценил бы весь комизм этой ситуации, и они могли бы, оставшись вдвоем, вдоволь посмеяться вместе. Дороти получила от него письмо, в котором он много чего наговорил о ее самоотверженной работе в монастыре, о ее мужестве и стойкости. Плут этакий, конечно же, он просто подшучивал над ними.

75

Не понять было, случайно так выходит или нет, но Китти ни на минуту не оставалась одна с Чарли. Он держался неизменно дружески, приветливо, любезно. Никто бы не догадался, что когда-то они были не просто знакомы. Но однажды днем, когда она читала, лежа на кушетке, он появился на веранде и подошел к ней.

– Что это вы читаете?

– Книжку.

И посмотрела на него насмешливо. Он улыбнулся.

– Дороти уехала на прием в губернаторском саду.

– Я знаю. А вы почему не поехали?

– Я отвез ее туда, а потом решил: нет, хватит, вернусь-ка я лучше домой. Машина ждет, не хотите ли прокатиться по острову?

– Нет, благодарю.

Он сел в ногах кушетки.

– Нам с самого вашего приезда не удалось поговорить по душам.

Она подняла на него высокомерный взгляд.

– А вы думаете, нам есть что сказать друг другу?

– А как же иначе.

Она отодвинула ноги в сторону, чтобы не касаться его.

– Вы все еще на меня сердитесь? – спросил он, и тень улыбки, тронувшей было его глаза и губы, растаяла.

– Нисколько, – рассмеялась она.

– Что-то не верится, а то бы не смеялись.

– Ошибаетесь. Как я могу на вас сердиться, когда я вас так презираю?

Он принял это спокойно.

– Вы, мне кажется, ко мне несправедливы. Ну хоть теперь-то, задним числом, признайтесь, что я был прав.

– С вашей точки зрения – да.

– Теперь, когда вы поближе узнали Дороти, согласитесь, что она милая женщина.

– Еще бы. Я век буду ей благодарна за ее доброту.

– Она удивительный человек. Я бы никогда себе не простил, если б мы тогда сбежали. Это было бы подло по отношению к ней. Да и о детях надо было подумать. Это основательно испортило бы им жизнь.

С минуту она задумчиво смотрела на него. Она чувствовала себя полной хозяйкой положения.

– Я очень внимательно за вами наблюдаю с тех пор, как живу здесь, и пришла к выводу, что вы действительно любите Дороти. Я не думала, что вы на это способны.

– Я же вам говорил, что люблю ее. Мне было бы совестно доставить ей хоть малейшее огорчение. Такой жены днем с огнем не сыщешь.

– А вам не приходило в голову, что вы должны бы быть ей верны?

– Чего глаз не видит, о том сердце не болит, – улыбнулся он.

Она пожала плечами.

– Какой же вы дрянной человек.

– Не дрянной, а самый обыкновенный. Вас послушать, так я мерзавец потому, что по уши в вас влюбился. Это, знаете ли, было непреднамеренно.

Сердце ее горестно дрогнуло от этих слов.

– Я оказалась легкой добычей, – отозвалась она горько.

– Я, конечно, не мог предвидеть, что мы так грандиозно влипнем.

– И во всяком случае, знали наперед, что если кто и пострадает, то не вы.

– Ну, знаете, это уже слишком. Теперь, когда все это позади, вы должны согласиться, что я поступил, как было лучше для нас обоих. Вы тогда потеряли голову, так скажите спасибо, что я не растерялся. Вы думаете, если б я исполнил ваше желание, что-нибудь хорошее из этого вышло бы? Нам и так пришлось несладко, а уж тогда и вовсе попали бы из огня да в полымя. И с вами ничего худого не случилось. Так, может, забудем прошлое и помиримся?

Она чуть не рассмеялась.

– Вы думаете, я могу забыть, что вы без зазрения совести послали меня почти на верную смерть?

– Ну что за вздор! Я же вам говорил, что никакого риска нет, если соблюдать осторожность. Думаете, я бы вас отпустил туда, если б не был в этом убежден?

– Были убеждены, потому что вам этого хотелось. Вы из породы тех трусов, которые убеждены только в том, что им выгодно.

– Тогда судите по результатам. Вы вернулись целехоньки и даже, да простятся мне столь предосудительные речи, еще похорошели.

– А Уолтер?

Он не мог удержаться от улыбки, от шутки, которая сама просилась на язык.

– Вам ни один цвет не идет так, как черный.

Она не нашла, что ответить. Глаза наполнились слезами. Прелестное лицо исказилось от горя. Она и не старалась его скрыть, лежала на спине и плакала.

– Ради Бога, не плачьте. Я не хотел вас обидеть, я просто пошутил. Вы же знаете, как я вам сочувствую.

– Ох, придержите вы свой глупый язык.

– Я бы отдал что угодно, чтобы вернуть Уолтера к жизни.

– Он умер из-за нас с вами.

Он взял ее за руку, но она отдернула руку и разрыдалась.

– Об одном прошу, уйдите от меня. Я вас ненавижу, презираю. Уолтер был в сто раз лучше вас, только я, идиотка, не понимала этого. Уйдите, уйдите.

Увидев, что он опять готов заговорить, она вскочила с кушетки и ушла к себе в комнату. Он последовал за ней и, войдя, машинально задернул шторы, так что они очутились в почти полной темноте.

– Не могу я тебя оставить, – сказал он, обнимая ее. – Я ведь не со зла это сказал.

– Не касайся меня. Ради Бога, уйди.

Она попыталась вырваться, он не отпускал. Теперь она рыдала безудержно.

– Дорогая моя, неужели ты не знаешь, что я всегда тебя любил? – сказал он своим глубоким, чарующим голосом. – И теперь люблю больше прежнего.

– Лжешь! Пусти меня сейчас же. Пусти, черт тебя побери!

– Не гневайся на меня, Китти. Ну да, я поступил с тобой по-свински. Прости меня!

Содрогаясь и плача, она отбивалась от него, но прикосновение его крепких рук было неизъяснимо отраднo. Она так истосковалась по его объятиям, так мечтала еще хоть раз испытать это счастье, и теперь вся дрожала, слабела. Словно все тело ее растаяло и скорбь по Уолтеру переплавилась в жалость к самой себе.

– О, как ты мог поступить со мной так жестоко! – рыдала она. – Ведь я тебя любила больше жизни. Никто никогда тебя так не любил.

– Родная.

Он стал ее целовать.

– Нет, нет, – молила она.

Он пригнулся к ее лицу; она отвернулась; он искал ее губы. Что это он говорит? Горячие, несвязные слова любви. А руки держат ее крепко, как ребенка, который заблудился и вот наконец дома, в безопасности. Она тихо застонала. Глаза ее были закрыты, лицо мокро от слез. А потом он нашел ее губы, и божественный огонь разлился по жилам. Это было блаженство, она сгорала дотла и вновь разгоралась, преображенная. В своих одиноких снах, вот когда она бывала так счастлива. Что он с ней делает? Все равно. Она уже не женщина, не человек, она – одно желание. Он взял ее на руки, подхватил легко, как перышко, и понес, а она в упоении прижималась к нему. Голова ее упала на подушку, и не осталось ничего, кроме его поцелуев.

76

Она сидела на краю постели, закрыв лицо руками.

– Воды хочешь?

Она помотала головой.

Он подошел к умывальнику, налил в стакан воды и принес ей. – На-ка выпей, тебе станет лучше.

Он поднес стакан к ее губам, она отпила немного, а потом в ужасе воззрилась на него. Он стоял, глядя на нее сверху, и в глазах его поблескивал самодовольный огонек.

– Ну что, ты все еще считаешь меня негодяем?

Она опустила глаза.

– Да, но я знаю, что и сама не лучше. Мне так стыдно.

– По-моему, ты очень неблагодарна.

– Теперь ты уйдешь?

– По правде говоря, пора. Надо привести себя в порядок, пока Дороти не вернулась.

И вышел из комнаты пружинистой походкой.

Китти еще посидела на краю постели, вся сжавшись, как побитый щенок. В голове было пусто. Ее пробрал озноб. Она с трудом встала на ноги и рухнула в кресло перед туалетным столом. Погляделась в зеркало. Глаза опухли от слез; лицо в красных пятнах. Оно внушало ужас. Но это было ее лицо. Она не могла бы сказать, какое клеймо позора ожидала на нем увидеть.

– Свинья, – бросила она своему отражению. – Свинья.

И горько заплакала, склонившись головой на вытянутые руки. Стыдно, так стыдно! Что это было, что на нее нашло? Ужас. Она ненавидела его, ненавидела себя. Но какое это было блаженство. Она никогда больше не решится посмотреть ему в лицо. Он во всем оказался прав. Правильно сделал, что не женился на ней, она ничтожество, не лучше шлюхи. Нет, хуже, ведь эти несчастные отдаются за кусок хлеба. Да еще в этом доме, куда Дороти привезла ее, одинокую, убитую горем! Плечи ее затряслись от рыданий. Теперь все пропало. Она думала, что изменилась, что она теперь сильнее, что вернулась в Гонконг обновленной; новые мысли порхали в душе, как желтые бабочки на солнце, она так надеялась, что стала лучше; свобода, как светоч, манила ее за собой, и мир расстился перед ней широкой равниной, по которой она могла идти легким шагом, с высоко поднятой головой. Она думала, что избавилась от похоти и низменных страстей, что может впредь жить чистой, здоровой духовной жизнью. Она сравнивала себя с белыми цаплями, что в сумерки не спеша пролетают над рисовыми полями, подобно высоким мыслям, переставшим враждовать друг с другом. А оказалась рабой. Слабой, безвольной. Впереди безнадежность, напрасны старания, она – падшая женщина.

Обедать она не пошла. Послала слугу сказать Дороти, что у нее болит голова и она лучше побудет у себя в комнате. Дороти явилась и, увидев ее заплаканные глаза, мягко и сочувственно поговорила о каких-то пустяках. Китти поняла: Дороти решила, что она плакала об Уолтере, и, как хорошая, любящая жена, уважает ее столь естественную скорбь.

– Я понимаю, как вам тяжело, дорогая, – сказала она уходя. – Но мужайтесь. Ваш муж, я уверена, не хотел бы, чтобы вы так о нем горевали.

Но на следующий день Китти встала рано и, оставив Дороти записку, что ушла по делам, села в трамвай и поехала вниз, в город. По людным улицам, среди машин, паланкинов и рикш, в пестрой толпе европейцев и китайцев, она добралась до конторы пароходства. Через два дня отходил пароход, первый за долгое время, и она решила во что бы то ни стало попасть на него. Когда кассир сказал ей, что все места проданы, она попросила провести ее к директору. Она назвалась, и директор, с которым она была знакома, вышел в приемную и пригласил ее к себе в кабинет. Он был осведомлен о ее положении и, когда она изложила свою просьбу, велел принести список пассажиров. Пока он, растерянно хмурясь, просматривал список, Китти твердила свое:

– Умоляю вас, сделайте для меня, что можете.

– Любой человек в колонии сделает для вас все возможное, миссис Фейн.

Он послал за клерком, задал ему несколько вопросов, потом кивнул.

– Сообразим кое-какие передвижки. Я знаю, как вам важно уехать поскорее, уж мы для вас постараемся. Могу предложить вам небольшую отдельную каюту. Думаю, это вам подойдет.

Она поблагодарила его и вышла приободренная. Бежать! Больше она ни о чем не думала: бежать! Она послала телеграмму отцу, предупредить о дне приезда. О смерти Уолтера она его уже известила. А потом поехала обратно к Дороти и все ей рассказала.

– Ужасно жаль расставаться с вами, – сказала эта добрая душа, – но я, конечно, понимаю, как вас тянет к родителям.

После возвращения в Гонконг Китти еще не была в своем доме, откладывала со дня на день. Она боялась войти в этот дом, встретиться с населяющими его воспоминаниями. Но больше откладывать было нельзя. Таунсенд договорился о продаже мебели и нашел, кому передать аренду. Но оставалась еще одежда, ее и Уолтера, ведь в Мэй-дань-фу они взяли с собой совсем немного; оставались книги, фотографии, всякие мелочи. Китти все это было безразлично, ей хотелось одного – поскорее порвать с прошлым, но она понимала, что в колонии косо посмотрели бы на ее распоряжение пустить все это добро с торгов. Нужно было упаковать его и отправить ей в Англию. И после второго завтрака она собралась в путь. Дороти предложила поехать с ней и помочь, но Китти сказала, что предпочитает все сделать одна. Согласилась только на предложение Дороти послать с нею двух слуг – пусть укладывают вещи под ее руководством.

Дом оставался на попечении старшего боя, он и открыл Китти дверь. Странно было переступить этот порог как чужой. В доме было чисто прибрано, все по своим местам, хоть сейчас пользуйся, но, хотя день был теплый и солнечный, в молчащих комнатах царил холодное запустение. Мебель была расставлена в точности так, как полагалось, и вазы, в которых уже не было цветов, стояли на прежних местах; книга, которую Китти когда-то положила на столик, так и лежала открытая, обложкой вверх. Казалось, люди покинули эти комнаты всего минуту назад, но в эту минуту вместились вечность, так что уже невозможно было вообразить, что когда-нибудь здесь снова зазвучат человеческие голоса и смех. На рояле стояли раскрытые ноты, фокстрот словно ждал, чтобы его сыграли, но чудилось, что, если ударить по клавишам, звука не последует. В комнате Уолтера все было так же аккуратно прибрано, как и при нем. На комодѣ стояли две большие фотографии – Китти в том платье, в котором ее представляли ко двору, и Китти в подвенечном наряде.

Но слуги уже притащили из чулана сундуки и стали укладывать вещи, а она стояла над ними и командовала. Работали они проворно. Китти прикинула, что за оставшиеся два дня все сборы можно с легкостью закончить. Только не давать себе думать – на это времени не было. Вдруг она услышала за спиной шаги и, оглянувшись, увидела Чарли Таунсенда.

- Что вам здесь нужно? – спросила она.
- Может быть, пройдем в ваш будуар? Мне нужно кое-что вам сказать.
- Я очень занята.
- Ну, всего на несколько минут.

Она не стала возражать, велела боям продолжать без нее и вышла в соседнюю комнату, а Чарли за ней. Садиться она не стала, давая ему понять, что надолго задерживаться не намерена. Она чувствовала, что побледнела, и сердце колотилось, но во взгляде была только спокойная враждебность.

- Так что же вам нужно?

– Я только что узнал от Дороти, что вы едете послезавтра. Она сказала, что вы поехали сюда укладываться, и велела мне позвонить и спросить, не могу ли я быть полезен.

- Спасибо, но я отлично справлюсь и одна.

– Я так и думал. И не за этим сюда приехал. Я приехал узнать, не связан ли ваш внезапный отъезд с тем, что произошло вчера.

– Вы с Дороти были ко мне очень добры, не хотелось злоупотреблять вашим гостеприимством.

- Ответ весьма двусмысленный.

- А вам не все равно?

- Конечно, нет. Мне не хочется думать, что это я как-то повлиял на ваше решение.

Она стояла у стола. Взгляд ее упал на номер «Скетча», старый-престарый. Тот самый номер, от которого Уолтер не мог оторваться в тот страшный вечер, когда... а Уолтера нет... Она подняла голову.

- Я вконец опозорена. Вы не можете презирать меня сильнее, чем я сама себя презираю.

– Но я вас вовсе не презираю. И вчера говорил от чистого сердца. Зачем спасаться бегством? Почему нам не остаться друзьями? Не хочется мне, чтобы вы думали, что я плохо с вами обошелся.

- Неужели нельзя было оставить меня в покое?

– О черт, я же не ледышка, не камень. Ты смотришь на это неразумно, как-то болезненно. Я думал, что после вчерашнего ты ко мне подобрееешь. В конце концов, мы живые люди.

– Я не чувствую себя человеком. Я животное. Свинья, или кролик, или собака. О, я тебя не виню. Я и сама не лучше. Я тебе уступила, потому что хотела тебя. Но это была не я – та мерзкая, скверная, развратная женщина. Это не я лежала на постели, задыхаясь от твоих ласк, когда моего мужа только что опустили в могилу, а твоя жена была так добра ко мне, так бесконечно добра. То был зверь, который живет во мне, темный, страшный, как злой дух, и я его не признаю, я его ненавижу, презираю. Стоит про это вспомнить, тошно становится, как будто меня сейчас вырвет.

Он слегка нахмурился и ответил с коротким смешком:

- Я, знаешь ли, человек достаточно терпимый, но иногда ты меня просто шокируешь.

– Что ж поделаешь, очень жаль. А теперь уходи. Ты очень неинтересный и мелкий человек, с тобой и говорить всерьез глупо.

По тому, как потемнели его глаза, она поняла, что он рассержен не на шутку. Каким же облегчением будет для него с ней распротиться – как всегда, учтиво, по-дружески. Ей стало смешно, когда она представила себе, как вежливо они пожимают друг другу руки и он желает ей счастливого пути, а она благодарит его за гостеприимство. Но тут выражение его изменилось.

- Дороти мне сказала, что ты ждешь ребенка.

Она слегка покраснела, но осталась неподвижна.

- Совершенно верно.

- Уж не я ли, случайно, отец?

- Нет-нет, это ребенок Уолтера.

В тоне ее была излишняя горячность, и она сама услышала, что прозвучало это неубедительно.

– Ты уверена? – Он озорно улыбнулся. – Как-никак вы с Уолтером были женаты не день и не два, а ничего не случилось. И сроки совпадают. Мне кажется, что он скорее мой, а не Уолтера.

– Я бы лучше себя убила, чем родить от тебя ребенка.

– Да брось, что за глупости. А я так был бы очень рад и горд. И хорошо бы родилась девочка, а то с Дороти у нас были одни мальчишки. Впрочем, долго сомневаться ты не будешь, мои все трое – вылитый мой портрет.

К нему вернулось хорошее настроение, и она поняла почему. Если ребенок его, то она никогда не будет от него свободна, хоть бы им и не довелось больше свидеться. Его власть над ней сохранится, и это, пусть косвенно, но неотвратимо, наложит печать на все дни ее дальнейшей жизни.

– Такого законченного болвана я еще не встречала, – сказала она.

Когда пароход входил в марсельскую гавань, Китти, любуясь ломаными очертаниями залитого солнцем берега, вдруг заметила золотую статую Мадонны, воздвигнутую на церкви Святой Марии Милостивой как символ защиты плавающих по морям. Ей вспомнилось, что сестры монастыря в Мэй-дань-фу, навсегда покидая родину, смотрели на эту статую, пока она не превратилась в маленький язычок золотого пламени в синем небе, и пытались молитвой смягчить щемящую боль расставания. Она стиснула руки и вся обратилась в мольбу неведомо каким силам.

Во время долгого, спокойного морского перехода она непрестанно думала о том страшном, что с нею случилось. Она не понимала себя. Это было так неожиданно. Что же это ею овладело, когда она, всем сердцем презирая Чарли, сладострастно уступила его нечистым ласкам? Ярость, отвращение к самой себе переполняли ее. Казалось, ей вовек не забыть этого унижения. Она плакала. Но по мере удаления от Гонконга эти ощущения постепенно теряли свою остроту. Уже казалось, что все это произошло в другом мире. Так бывает с человеком, который, очнувшись от внезапного припадка безумия, испытывает смятение и стыд, смутно припоминая нелепые, безобразные поступки, совершенные им, когда он перестал быть самим собой. Но, зная, что он тогда не был самим собой, он чувствует, что хотя бы в собственных глазах заслуживает снисхождения. Китти думала, что, может быть, у кого-нибудь и хватило бы великодушия не осудить, а пожалеть ее. Но сама она только вздыхала при мысли о том, какой удар был нанесен ее самонадеянности. Ей-то казалось, что дорога ее уходит вдаль прямая, легкая, а оказывается – дорога эта извилистая, и на каждом шагу ухабы. Необозримые пространства Индийского океана с его трагически прекрасными закатами немного успокоили ее. Она словно неслась на крыльях в какую-то страну, где сможет вновь обрести себя. А если вернуть себе самоуважение можно только ценой жестокой борьбы – что ж, нужно найти в себе силы и бороться.

Будущее рисовалось одиноким и трудным. В Порт-Саиде ее ждало письмо от матери – ответ на ее телеграмму. Письмо было длинное, написанное крупным витиеватым почерком, какому обучали молодых девиц в те далекие годы. Почерк был такой вычурно аккуратный, что производил впечатление неискренности. Миссис Гарстин выражала сожаление по поводу смерти Уолтера и приличествующие случаю соболезнования. Она опасается, что Китти осталась почти без средств, но, конечно же, министерство по делам колоний назначит ей пенсию. Она рада, что Китти возвращается в Англию, и до рождения ребенка ее место, разумеется, под родительским кровом. Дальше шли всевозможные советы и наставления, а также кое-какие подробности касательно родов ее сестры Дорис. Сейчас мальчик уже весит столько-то фунтов, его дед с отцовской стороны уверяет, что в жизни не видел такого отличного ребенка. Дорис опять в положении, они надеются, что второй тоже будет мальчик, тогда за баронетский титул и вовсе можно будет не опасаться.

Китти уловила, что главная цель этого письма – точно установить срок, на который ее приглашают. Миссис Гарстин не намерена взвалить на себя такое бремя, как овдовевшая дочь в стесненных обстоятельствах. Когда вспомнишь, как мать с ней когда-то носилась, странно, что теперь, обманувшись в своих надеждах, она видит в ней только обузу. Странная это вещь вообще – отношения между родителями и детьми! Пока они маленькие, родители чуть не молятся на них, ночей не спят, когда дети болеют, а дети льнут к ним с благоговейной любовью. Проходит несколько лет, дети подрастают, и важнее для их счастья становятся уже не отец с матерью, а вовсе, казалось бы, посторонние люди. На смену слепой, инстинктивной любви приходит равнодушие. Встречаясь, они испытывают скуку или раздражение. Когда-то расстаться на месяц казалось им трагедией, теперь они хладнокровно думают о предстоящей им много-

летней разлуке. Пусть ее мать не тревожится: она и сама предпочитает жить своим домом. Но ей нужно немножко времени, чтобы оглядеться, сейчас все так туманно, представить себе будущее она просто не в силах. Возможно, она еще умрет от родов, это было бы разрешением многих проблем.

Но когда они причалили в Марселе, ей передали два письма. Она с удивлением узнала почерк отца – он, сколько помнится, никогда не писал ей писем. Письмо было недлинное и начиналось «Дорогая Китти». Он сообщал, что пишет вместо матери – та заболела, ей пришлось лечь в больницу на операцию. Пусть Китти не пугается и не меняет своих планов добраться до Англии морем. Поездом ехать гораздо дороже, к тому же, пока матери нет дома, Китти будет неудобно жить на Харрингтон-Гарденз. Второе письмо было от Дорис, оно начиналось «Китти, милая» – не потому, что Дорис питала к ней особенно нежные чувства, а потому, что она обращалась так ко всем без разбора.

Китти, милая, папа тебе, наверно, уже написал. Маму будут оперировать. Оказываться, она уже год как тяжело больна, но ты ведь ее знаешь, докторов она терпеть не может и пила какие-то патентованные средства. Я не знаю точно, что с ней такое, а она все держит в секрете, а если спросишь, тут же взрывается. Вид у нее ужасный, я бы на твоём месте приехала из Марселя поездом, чтобы поскорее попасть домой, только не говори, что это я тебе посоветовала, ведь она уверяет, что ничего серьёзного нет, и не хочет, чтобы ты приезжала, пока она еще в больнице. С врачами она взяла обещание, что ее выпишут через неделю.

Целую, Дорис.

P. S. Ужасно мне жалко Уолтера. Нелегко тебе досталось, бедняжка. Безумно хочу тебя видеть. Забавно, что мы с тобой одновременно ждем младенцев. Сможем держаться за руки.

Китти, задумавшись, стояла на палубе. Она не могла вообразить свою мать больной. Всегда она была такая живая, энергичная и ненавидела, когда кто-нибудь в семье хворал.

К ней подошел стюард с телеграммой:

Глубоким прискорбием сообщая мама скончалась сегодня утром. Отец.

79

Китти позвонила у подъезда знакомого дома на Харрингтон-Гарденз. Горничная сказала, что ее отец у себя в кабинете, и она тихонько открыла дверь: он сидел у огня с вечерней газетой в руках. Когда она вошла, он поднял голову, отложил газету и суетливо вскочил с места.

– А-а, Китти, а я ждал тебя следующим поездом.

– Не хотелось тебя беспокоить, ты бы еще вздумал встречать меня, вот я и не сообщила точное время.

Он подставил ей щеку для поцелуя движением, которое она помнила с детства.

– А я тут просматривал газету, – сказал он. – Я уже два дня газет не читал.

Он, видимо, считал нужным оправдаться в том, что занимался таким обычным делом.

– Ну и правильно, – сказала она. – Ты, наверно, устал ужасно. Ведь мамина смерть явилась для тебя неожиданностью?

С тех пор как они не виделись, он постарел, похудел. Маленький, сухонький, аккуратный.

– Хирург сразу сказал, что надежды нет. Она была больна больше года, но не хотела обращаться к врачам. Хирург сказал, что у нее должны были быть сильные боли, просто чудо, как она их терпела.

– И никогда не жаловалась?

– Говорила иногда, что ей нездоровится, а на боли не жаловалась, нет. – Он помолчал, посмотрел на Китти. – Ты очень устала с дороги?

– Не очень.

– Хочешь взглянуть на нее?

– А она здесь?

– Да, ее привезли сюда из больницы.

– Да, пойду сейчас же.

– Мне пойти с тобой?

Что-то в его тоне заставило Китти бросить на него быстрый взгляд. Он слегка отвернулся, отводя от нее глаза. За последнее время Китти научилась безошибочно читать чужие мысли. Недаром она изо дня в день прилагала все силы, чтобы по случайному слову или необдуманному жесту угадать тайные мысли мужа. И сейчас она сразу уловила то, что отец пытался от нее скрыть. Облегчение, вот что он чувствовал, огромное облегчение, и это его пугало. Почти тридцать лет он был верным и преданным мужем, ни разу ни словом не отозвался плохо о своей жене, и теперь ему следовало горевать о ней. Он всегда делал то, чего от него ожидали. Он считал бы непозволительным хотя бы неосторожным взглядом или намеком выдать тайну – что он не испытывает того, что в данных обстоятельствах полагалось бы испытывать безутешному вдовцу.

– Нет, я лучше пойду одна, – сказала Китти.

Она поднялась по лестнице и вошла в большую, холодную, претенциозно обставленную комнату, материнскую спальню. Как хорошо она помнила эту массивную мебель красного дерева и на стенах – гравюры по Маркусу Стоуну. На туалетном столе все было расставлено и разложено в том неукоснительном порядке, которого миссис Гарстин всегда придерживалась. Цветы казались не у места: миссис Гарстин нашла бы, что держать цветы в спальне глупо, аффектировано и нездорово. Их аромат не заглушал чуть едкого, кисловатого запаха, как от свежeweыстиранного белья, который у Китти всегда связывался с этой комнатой.

Миссис Гарстин лежала на постели, руки ее были скрещены на груди, словно выражая покорность, которой она в жизни не одобрила бы. Лицо было благообразно, даже внушительно – крупные, резкие черты, щеки, ввалившиеся от долгих страданий, запавшие виски. Смерть убрала с этого лица все мелкое, злое, оставила только силу характера. Супруга древнеримского

императора, да и только. Китти поразило, что из всех мертвых людей, каких ей довелось видеть, только ее мать и в смерти выглядела так, словно эта неподвижная оболочка когда-то была обиталищем духа. Горю она не чувствовала: долголетняя отчужденность в ее отношениях с матерью не оставила места для дочерней любви; и, вспоминая ту девочку, какой она сама когда-то была, она думала, что такой ее сделала мать. Но, глядя на эту жесткую, властную, честолюбивую женщину, что лежала перед ней такая тихая и безмолвная сейчас, когда все ее суетные помыслы развеяны смертью, она смутно прозревала в этом некое возмездие. Всю жизнь она ловчила, интриговала, все ее желания были низменны и недостойны. Может быть, теперь, из какого-то иного мира, она оглядывается на свою земную жизнь с содроганием.

Вошла Дорис.

– Я так и думала, что ты приедешь этим поездом. Решила забежать хоть на минутку. Какой ужас, правда? Бедная мамочка.

И бросилась Китти на шею, заливаясь слезами. Китти поцеловала ее. Она помнила, как мать всегда пренебрегала Дорис и баловала ее, Китти, как она ругала Дорис за то, что та некрасивая и скучная. Неужели же Дорис в самом деле так потрясена ее смертью? Впрочем, Дорис всегда отличалась чувствительностью. Китти пожалела, что не может заплакать: Дорис сочтет ее бессердечной. А она столько всего перенесла, что не в состоянии изображать скорбь, которой не чувствует.

– Ты к папе зайдешь? – спросила она, когда рыдания сестры поутихли.

Дорис утерла слезы. Китти отметила, что от беременности Дорис еще подурнела и в черном платье вид у нее какой-то грубый и неряшливый.

– Нет, пожалуй. Только опять расплачусь. Бедный папочка, как он стойко держится.

Китти проводила ее в переднюю и вернулась к отцу. Он стоял перед камином, газета была аккуратно сложена – видимо, с тем расчетом, чтобы она убедилась, что он больше не читает.

– Я не переодевался к обеду, – сказал он. – Решил, что теперь это не обязательно.

80

Они пообедали. Мистер Гарстин обстоятельно рассказал Китти о болезни и смерти жены, упомянул, как тепло откликнулись на это событие друзья и знакомые (на столе лежали груды писем, и он вздохнул при мысли, что придется на них отвечать) и как он распорядился насчет похорон. Потом они вернулись в кабинет. Это была единственная во всем доме комната, где топили. Он машинально взял с каминной полки свою трубку и стал ее набивать, но потом с сомнением поглядел на дочь и отложил трубку.

– Разве ты не будешь курить? – спросила она.

– Твоя мама не очень-то любила запах трубочного дыма после обеда, а от сигар я отказался еще во время войны.

У Китти сжалось сердце – надо же, шестидесятилетний мужчина не решается покурить у себя в кабинете!

– А я люблю запах трубки, – улыбнулась она.

Тень облегчения скользнула по его лицу, он снова взял трубку и закурил. Они сидели друг против друга по обе стороны камина. Он, видимо, почувствовал, что должен поговорить с дочерью о ее затруднениях.

– Ты, наверно, получила письмо, которое мама послала тебе в Порт-Саид. Весть о смерти бедного Уолтера нас обоих сразила. Мне он очень нравился.

Китти молчала, не зная, что ответить.

– Мама мне сказала, что ты ждешь ребенка.

– Да.

– И когда же?

– Месяца через четыре.

– Это будет тебе большим утешением. Ты побывай у Дорис, посмотри ее мальчика. Очень хороший мальчуган.

Они говорили более отчужденно, чем если б только что познакомились: ведь чужому человеку было бы с ней интереснее, а общее прошлое воздвигло между ними стену равнодушия. Китти отлично понимала, что никогда не старалась заслужить его любовь, в доме с ним никто не считался, его принимали как должное – кормилец, которого слегка презирали, потому что он не мог обеспечить семье более роскошного существования; но ей-то казалось, что он как отец не может не любить ее, и неожиданностью явилось открытие, что никаких чувств он к ней не питает. Она помнила, что он на всех нагонял скуку, но ей в голову не приходило, что и ему с ними скучно. В нем, как и прежде, чувствовалась мягкая покорность, но невеселая прозорливость, рожденная страданием, подсказывала Китти, что хотя он, вероятно, никогда в этом не признавался даже самому себе и никогда не признается, – что, в сущности, она ему не симпатична.

Трубка его плохо тянула, он встал, чтобы поискать, чем бы ее прочистить. А может, просто хотел скрыть неловкость.

– Мама хотела, чтобы ты пожила здесь до рождения ребенка, она собиралась распорядиться, чтобы тебе приготовили твою прежнюю комнату.

– Да, я знаю. Обещаю, что не буду тебе мешать.

– Дело не в этом. В то время было совершенно ясно, что тебе следует ехать не куда-нибудь, а только в отчий дом. Но мне, понимаешь ли, только что предложили пост главного судьи на Багамах, и я принял это предложение.

– Ох, папа, как я рада! Поздравляю тебя.

– Предложение это немного запоздало, я уже не мог сообщить о нем твоей покойной матери. Оно доставило бы ей большое удовлетворение.

Вот она, горькая ирония судьбы! После всех своих хлопот, унижений и разочарований миссис Гарстин умерла, так и не узнав, что ее честолюбивый замысел все же осуществился.

– Я отплываю в начале будущего месяца. Этот дом я, разумеется, поручу продать, думал продать и мебель. Мне очень жаль, что ты не сможешь остаться здесь жить, но, если тебе захочется взять что-нибудь из мебели, чтобы обставить квартиру, мне доставит истинное удовольствие тебе это подарить.

Китти глядела в огонь. Сердце у нее колотилось, даже странно было, до чего она вдруг разволновалась. Наконец она заставила себя заговорить. Голос слегка дрожал.

– А мне с тобой нельзя поехать, папа?

– Тебе? Ох, моя дорогая... – Лицо его вытянулось. Китти часто слышала это выражение, но считала, что так просто говорится, а тут впервые увидела воочию, да так явственно, что даже испугалась. – Но ведь все твои друзья здесь, и Дорис здесь. Я думал, тебе будет гораздо лучше, если ты снимешь квартиру в Лондоне. Я не знаю в точности, какими средствами ты располагаешь, но рад буду вносить квартирную плату.

– Денег у меня на жизнь достаточно.

– Я еду в совершенно незнакомое место. Какие там условия – понятия не имею.

– К незнакомым местам мне не привыкать. Лондон для меня теперь ничто. Мне здесь нечем было бы дышать.

Он закрыл глаза, и ей показалось, что он сейчас заплачет. Лицо его выражало безграничное горе. Сердце разрывалось, на него глядя. Она не ошиблась: смерть жены была для него избавлением, и теперь эта возможность полностью порвать с прошлым сулила ему свободу. Он уже видел впереди новую жизнь и наконец, после стольких лет, покой и призрак счастья. Сердцем она поняла, как он настрадался за тридцать лет. И вот он открыл глаза, не удержавшись от тяжелого вздоха.

– Разумеется, если тебе хочется ехать, я буду очень рад.

Жалкое зрелище. Борьба была короткой, он покорился чувству долга. В этих немногих словах было отречение от последней надежды. Она встала и, подойдя к его креслу, опустилась на колени, сжала его руки.

– Нет, папа, я поеду, только если ты этого захочешь. Довольно ты жертвовал собой. Хочешь ехать один – поезжай. А обо мне не думай.

Он высвободил руку и погладил ее по пышным волосам.

– Разумеется, поедem вместе, милая. Ведь я как-никак твой отец, а ты вдова и одна на свете. Раз тебе хочется быть со мной, с моей стороны было бы дурно не хотеть этого.

– Да нет же, я не предъявляю на тебя никаких прав как дочь, ты мне ничего не должен.

– Ну что ты, моя дорогая...

– Ничего! – повторила она страстно. – У меня сердце болит, как подумаю, что мы всю жизнь тянули из тебя жилы, а тебе ничего не давали взамен. Даже немножко ласки. Боюсь, жизнь у тебя была не очень счастливая. Так позволь мне хоть отчасти возместить тебе то, чего я не дала тебе в прошлом!

Он нахмурился. Эти излияния приводили его в замешательство.

– Не понимаю, о чем ты говоришь. Мне не в чем тебя упрекнуть.

– Ах, папа, я столько всего пережила, я была так несчастна! Я не та Китти, которая уезжала отсюда. Я очень слабая, но, кажется, уже не такая дрянь, какой была тогда. Позволь мне хоть попытаться. У меня никого не осталось, кроме тебя. Позволь мне попытаться заслужить твою любовь. Ах, папа, мне так одиноко, так тоскливо, твоя любовь мне так нужна!

Она уткнулась лицом в его колени и заплакала горькими слезами.

– Китти, маленькая моя, – приговаривал он, наклонившись над ней.

Она подняла голову, обняла его за шею.

– Папа, помоги мне. Давай помогать друг другу.

Он поцеловал ее в губы, как любовник, щеки его были мокры от слез.

– Разумеется, поедем вместе.

– Ты так хочешь? Правда, хочешь?

– Да.

– Я так тебе благодарна!

– Дорогая моя, не говори мне таких вещей, ты меня конфузишь.

Он достал платок, вытер ей глаза. И улыбнулся такой улыбкой, какой она никогда у него не видела. Она опять обняла его.

– Нам с тобой будет так хорошо, папочка. Ты даже не знаешь, как славно мы с тобой заживем.

– А ты не забыла, что скоро будешь матерью?

– Я рада, что она родится где-то там, близко от моря, под широким синим небом.

– Ты уже твердо решила, что будет девочка? – спросил он с легкой, сухой усмешкой.

– Я хочу девочку, потому что хочу вырастить ее так, чтобы она не повторила моих ошибок. Когда я оглядываюсь на свое детство, я себя ненавижу. Но у меня и возможностей не было стать иной. Я воспитаю свою дочку свободной, самостоятельной. Не для того произведу ее на свет и буду любить и растить, чтобы какому-то мужчине так сильно захотелось с ней спать, что он ради этого согласится до конца жизни давать ей кров и пищу.

Она почувствовала, что отец весь сжался. Он никогда не говорил о таких вещах и был шокирован, услышав эти речи из уст родной дочери.

– Дай мне хоть раз высказаться откровенно, папа. Я была глупая, скверная, отвратительная. Я была жестоко наказана. Мою дочь я хочу от всего этого уберечь. Хочу, чтобы она была бесстрашной и честной, чтоб была личностью, независимой от других, уважающей себя. И чтобы воспринимала жизнь как свободный человек и прожила свою жизнь лучше, чем я.

– Дорогая моя, ты говоришь так, точно тебе пятьдесят лет. У тебя еще вся жизнь впереди. Не унывай.

– А я не унываю. Я надеюсь и не боюсь.

С прошлым покончено. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Разве это так уж бессердечно? От всей души она надеялась, что научилась состраданию и милосердию. Что ждет ее в будущем – неизвестно, но в себе она ощущала способность встретить любую долю без жалоб. И вдруг, непонятно почему, из глубины подсознания возникла память о том, как они, она и бедный Уолтер, добирались в охваченный эпидемией город, где его ждала смерть: однажды утром они выступили в путь еще затемно, и, когда стало рассветать, она не столько увидела, сколько угадала картину такой несказанной прелести, что на какое-то время улеглась ее душевная боль. Все людские треволнения отступили перед этой красотой. Взошло солнце, туман растаял, и стало видно, как далеко впереди, до самого горизонта, меж рисовых полей, через узкую речку и дальше по отлогим холмам вьется дорога, по которой им предстояло пройти. Быть может, не напрасны были все ее ошибки и заблуждения, все муки, перенесенные ею, если теперь она сумеет пройти той дорогой, которую смутно различает впереди, – не тем путем, ведущим в никуда, о котором говорил забавный чудаков Уолдингтон, а тем, которым так смиренно следовали монахини, – путем, что ведет к душевному покою.

Пироги и пиво, или Скелет в шкафу

Предисловие автора

Этот роман я сначала задумал как рассказ, и к тому же не очень длинный. Вот какую запись я сделал, когда появился его замысел: «Меня просят написать воспоминания о знаменитом романисте, друге моего детства, живущем в У. с женой, заурядной женщиной, отнюдь не сохраняющей ему верности. Там он пишет свои великие произведения. Позже он женится на своей секретарше, которая с ним нянчится и делает из него выдающуюся личность. Мои размышления о том, не вызывает ли у него даже в преклонном возрасте некоторого беспокойства то, что его превращают в монумент».

В то время я писал серию рассказов для журнала «Космополитен». Согласно контракту, каждый из них должен был иметь размер от 1200 до 1500 слов, чтобы вместе с картинкой занимать не больше полосы журнала. Иногда я давал себе волю – тогда картинка переходила на противоположную полосу, и мне освобождалось еще немного места. Я решил, что этот сюжет пригодится для такой цели, и держал его в запасе.

Но образ Розы я вынашивал уже давно. Многие годы я хотел о ней написать, но для этого все не представлялось удобного случая. Я никак не мог изобрести такую ситуацию, в которой для нее нашлось бы подходящее место, и уже начал было думать, что из этого так ничего и не получится. Да и не очень я об этом жалел. Персонаж, живущий в голове автора, еще не написанный, остается в полной его власти; мысли автора постоянно к нему возвращаются, воображение понемногу его обогащает, и все это время автор испытывает своеобразное наслаждение от того, что там, у него в голове, живет разнообразной и трепетной жизнью некто покорный капризам его фантазии и в то же время каким-то странным образом наделенный собственной, от него не зависящей волей. Но как только образ перенесен на бумагу, он больше не принадлежит писателю. Он забыт. Просто удивительно, насколько безвозвратно перестает после этого существовать личность, которая на протяжении, может быть, многих лет занимала ваши мысли.

И вдруг мне пришло в голову, что в моем наброске есть тот самый подходящий для этого персонажа фон, который я искал. Сделаю-ка я ее женой моего знаменитого романиста! Я понял, что такой сюжет мне никак не втиснуть и в две тысячи слов, и поэтому решил немного повременить и воспользоваться этим материалом для одного из рассказов подлиннее, на 14–15 тысяч слов, с которыми, начиная с «Дождя», я не без успеха выступал. Но чем больше я размышлял, тем меньше мне хотелось потратить свою Розу даже на такой рассказ. На меня нахлынули старые воспоминания. Я понял, что сказал еще далеко не все, что хотел, о городке У. из своего наброска, который в «Бремени страстей человеческих» назвал Блэкстеблом. Почему бы теперь, спустя столько лет не подойти ближе к подлинным фактам? Так дядя Уильям, священник из Блэкстебла, и его жена Изабелла превратились в приходского священника дядю Генри и его жену Софи. А Филип Кэри из той, ранней, книги в «Пирогах и пиве» стал «мною».

Когда книга вышла, она навлекла на меня с разных сторон обвинения в том, будто под именем Эдуарда Дриффила я изобразил Томаса Гарди. Но я такого намерения не имел. Гарди подразумевался мной не в большей степени, чем Джордж Мередит или Анатолий Франс. Как видно из того, первого наброска, моя мысль состояла в том, что преклонение, окружающее писателя, когда он находится на склоне лет и на вершине славы, должно быть, раздражает в нем ту живую искорку духа, которая все еще сохранила способность откликаться на полеты его

фантазии. Я подумал, что ему, наверное, приходит в голову множество странных, беспокойных дум, хотя внешне он хранит то достоинство, какого требуют от него почитатели.

Когда я в восемнадцатилетнем возрасте прочитал «Тэсс из рода д'Эрбервиллей», я пришел в такой восторг, что твердо решил жениться на молочнице; но другие книги Гарди не производили на меня такого сильного впечатления, как на большинство моих современников, и я не считал его таким уж блестящим стилистом. Он никогда не интересовал меня так, как одно время Джордж Мередит, а позже – Анатоль Франс. Биографию Гарди я знал плохо. Да и теперь я знаю ее лишь настолько, чтобы с уверенностью утверждать: совпадения между ней и жизнью Эдуарда Дрифилда очень незначительны. Они сводятся только к тому, что оба начинали в бедности и оба были женаты дважды.

Встречался с Томасом Гарди я всего один раз. Это было на обеде у леди Сент-Хельер, более известной в светском обществе того времени под именем леди Жен. Она, хотя и жила в гораздо более чопорном мире, чем нынешний, любила приглашать к себе каждого, кто так или иначе привлек внимание публики. А я был тогда популярным и модным драматургом. Это был один из тех пышных обедов, какие устраивались до войны, – с множеством блюд, с супом и бульоном, рыбой, несколькими горячими закусками, шербетом (чтобы гости могли перевести дух); жарким, дичью, десертом, мороженым и сладким. За столом сидело двадцать четыре человека, и каждый из них был персона, чем-нибудь выдающаяся: или почетным титулом, или положением в обществе, или своим вкладом в искусство. Когда дамы удалились в гостиную, моим соседом оказался Томас Гарди. Помню, это был маленький человечек с грубыми чертами лица. Одетый во фрак и крахмальную рубашку со стоячим воротничком, он все равно чем-то странно напоминал о земле. Он был любезен и учтив. Меня тогда поразила в нем какая-то любопытная смесь застенчивости и самоуверенности. Не помню, о чем мы говорили, но знаю, что разговор продолжался три четверти часа. Под конец он удостоил меня большого комплимента – спросил (не слышав раньше моего имени), чем я занимаюсь.

Говорят, что в образе Элроя Кира два-три писателя нашли намек на себя. Но они ошиблись. Этот персонаж – собирательный: от одного писателя я взял внешность, от другого – тягу к хорошему обществу, от третьего – сердечность, от четвертого – гордость своей спортивной удачей, и вдобавок довольно много – от себя самого. Дело в том, что я обладаю незавидной способностью сознавать свою собственную наивность и нахожу в себе много достойного осмеяния. Думаю, именно поэтому (если верить всему, что я часто о себе слышу и читаю) я вижу людей в не столь лестном свете, как многие авторы, таким злополучным свойством не обладающие. Ведь все образы, которые мы создаем, – это лишь копии с нас самих. Конечно, не исключено, что другие писатели и в самом деле благороднее, бескорыстнее, добродетельнее и возвышеннее меня. В таком случае естественно, что они, будучи сами ангелами во плоти, создают своих героев по собственному образу и подобию.

Когда же я захотел нарисовать портрет писателя, который пользуется любыми средствами, чтобы разрекламировать свои книги и обеспечить им сбыт, мне не нужно было приглядываться к какому-то определенному человеку: это слишком обычное явление. К тому же оно не может не вызывать сочувствия. Каждый год остаются незамеченными сотни книг, многие из которых обладают большими достоинствами. Автор каждой такой книги писал ее много месяцев, а думал о ней, может быть, много лет; он вложил в нее какую-то часть самого себя, которой он после этого уже навсегда лишился. Сердце разрывается, когда думаешь, как велика вероятность, что эта книга потеряется в потоке произведений, загромождающих столы критиков и обременяющих полки книжных лавок. Ничего нет противоестественного в том, что автор пользуется для привлечения внимания публики любыми доступными ему средствами. Что именно следует для этого делать, его учит опыт. Он должен превратиться в общественного деятеля; он должен постоянно находиться в поле зрения. Он должен давать интервью и добиваться, чтобы его фотографии печатали в газетах. Он должен писать письма в «Тайме», высту-

пать на митингах и заниматься социальными проблемами; он должен произносить послеобеденные речи; он должен высказываться о книгах, которые рекламируют издатели; и он должен неукоснительно появляться там, где нужно, в те моменты, когда нужно. Он не должен допускать, чтобы о нем забыли. Это нелегкая и беспокойная работа, ибо ошибка может дорого ему обойтись. Было бы жестоко не сочувствовать автору, прилагающему такие усилия, чтобы уговорить мир прочесть книгу, которую он искренне считает этого достойной.

Есть лишь один вид рекламы, который я презираю, – это вечера, устраиваемые по выходе книги. Автор обеспечивает присутствие на таком вечере фотографа, приглашает светских хроникеров и всех выдающихся людей, с которыми знаком. Хроникеры по крайней мере хоть уделяют ему абзац в своих статьях, а фотографии печатаются в иллюстрированных журналах – выдающиеся же люди приходят только за тем, чтобы получить даром экземпляр книги с автором. Этот позорный обычай не становится менее предусмотрительным в тех случаях, когда предполагается (иногда, несомненно, справедливо), что вечер устроен за счет издателя. Когда я писал «Пирог и пиво», такие вечера еще не вошли в моду, а они могли бы дать мне материал еще для одной яркой главы.

I

Я заметил, что, когда кто-нибудь звонит вам по телефону и, не застав вас дома, просит передать, чтобы вы немедленно, как только придете, позвонили ему по важному делу, дело это обычно оказывается важным не столько для вас, сколько для него. В тех случаях, когда речь идет о том, чтобы сделать вам подарок или оказать услугу, большинство людей способно взять себя в руки и не проявлять чрезмерного нетерпения. Поэтому когда я пришел домой как раз вовремя, чтобы успеть выпить рюмочку, покурить, прочитать газету и одеться к обеду, и узнал от своей квартирной хозяйки мисс Феллоуз, что меня просил немедленно позвонить мистер Элрой Кир, то я решил, что вполне могу пренебречь его просьбой.

– Это не тот писатель? – спросила она.

– Он самый.

Она ласково взглянула на телефон.

– Соединить вас с ним?

– Нет, спасибо.

– А что сказать, если он опять будет звонить?

– Спросите его, что мне передать.

– Хорошо, сэр.

Мисс Феллоуз осталась недовольна. Она захватила пустой сифон, окинула взглядом комнату, чтобы удостовериться, все ли в порядке, и вышла. Мисс Феллоуз – большая любительница литературы. Я не сомневаюсь, что она прочла все книги, написанные Роем. И была от них в восторге – об этом свидетельствовало то, что она явно не одобрила мое пренебрежение к его звонку.

Вернувшись домой снова, я нашел на буфете записку, написанную ее крупным, разборчивым почерком: «Мистер Кир звонил два раза. Не можете ли вы завтра с ним пообедать? Если нет, то какой день был бы вам удобен?»

Я удивленно поднял брови. В последний раз я виделся с Роем три месяца назад, да и то всего каких-нибудь несколько минут на одном званом обеде. Он был, как всегда, очень дружелюбен и, когда мы расставались, выразил сожаление, что мы так редко видимся.

– Ужасное место этот Лондон, – сказал он. – Вечно не хватает времени повидать тех, кого хочется. Давайте на будущей неделе как-нибудь вместе пообедаем, а?

– С удовольствием, – ответил я.

– Я загляну в свою записную книжку, как приеду домой, и позвоню вам.

– Ладно.

Я знаком с Роем уже двадцать лет и знаю, что маленькая записная книжка, куда он записывает все назначенные свидания, всегда у него с собой, в верхнем левом кармане жилета. Поэтому я не удивился, так и не дождавшись его звонка. И теперь я никак не мог заставить себя поверить, что он бескорыстно стремится проявить гостеприимство. Курая трубку перед сном, я перебирал возможные причины, по которым Рою могло понадобиться, чтобы я с ним пообедал. Может быть, какая-нибудь его поклонница пристала к нему с просьбой познакомить ее со мной; может быть, эту встречу просил организовать приехавший на несколько дней в Лондон американский издатель. Но я был бы несправедлив к своему старому приятелю, если бы подумал, что у него не хватит изобретательности выкрутиться. Кроме того, он просил назначить день по моему выбору, а значит, вряд ли собирался с кем-то меня свести.

Никто не может лучше Роя проявить самую искреннюю сердечность по отношению к собрату-писателю, чье имя у всех на устах; и никто не может столь же добродушно отвернуться от него, когда бездеятельность, неудача или чужой успех затмевают его славу. У всякого писателя бывают взлеты и падения, и я прекрасно сознавал, что в тот момент не находился в цен-

тре внимания публики. Очевидно, я мог бы найти повод вежливо отклонить приглашение Роя, хотя он человек решительный, и если бы ему для каких-то своих целей понадобилось встретиться со мной, то остановить его можно было бы, только недвусмысленно послав к черту. Но меня одолело любопытство. Кроме того, я питаю к Рою самые теплые чувства.

Я с восхищением следил за его успехами в литературном мире. Его карьера могла бы служить образцом для любого начинающего писателя. Не припомню ни одного из своих современников, кто добился бы такого значительного положения с таким небольшим талантом. Талант Роя, как умеренная доза лекарства, мог бы уместиться в одной столовой ложке. Он прекрасно это понимал, и временами ему, должно быть, казалось почти чудом, что он ухитрился сочинить уже около тридцати книг. Я не могу не предположить, что он впервые прозрел, прочитав, что гениальность, как сказал однажды в послеобеденной речи Томас Карлайл, – не что иное, как бесконечная работоспособность. Это запало ему в голову. «Если все дело в этом, – сказал, вероятно, он себе, – то и я могу быть гением не хуже других». И когда один экзальтированный критик на страницах дамского журнала впервые назвал его гением (а в последнее время критики делают это все чаще), он, наверное, удовлетворенно вздохнул, как человек, после многочасовых стараний решивший кроссворд. Ни один из тех, кто многие годы был свидетелем его неустанного труда, не может отрицать, что право на гениальность он, во всяком случае, заработал.

Свой жизненный путь Рой начал при довольно благоприятных обстоятельствах. Он был единственный сын государственного деятеля, который, прослужив много лет в колониальной администрации Гонконга, закончил свою карьеру губернатором Ямайки. Отыскав Элроя Кира на убогих страницах справочника «Кто есть кто», вы могли бы прочесть: «Един. с. сэра Реймонда Кира (см.), КОМГ¹⁹, КОВ²⁰, и Эмили, мл. доч. покойного генерал-майора Перси Кэмперауна (Индийская армия)».

Образование Рой получил в Винчестере и в Новом колледже Оксфорда. Он был президентом студенческого общества, и если бы, к несчастью, не заболел корью, то вполне мог бы войти в университетскую команду на ежегодных лодочных гонках. Годы учения он провел без особого блеска, но зато вполне добропорядочно и долгов к окончанию университета не имел. Даже тогда он отличался бережливостью, не проявлял склонности сорить деньгами и был примерным сыном. Он знал, что его родители многим пожертвовали, чтобы дать ему такое дорогостоящее образование. Отец его, выйдя в отставку, жил в скромном, но вполне приличном доме близ Струда, в Глостершире, и время от времени приезжал в Лондон, чтобы присутствовать на парадных обедах, имевших отношение к колониям, которыми он когда-то управлял. В таких случаях он обычно заходил в клуб «Атенеум», где состоял членом. Через старого приятеля по клубу он сумел добиться, чтобы Роя по окончании Оксфорда взяли в наставники к сыну одного очень знатного лорда, отличавшемуся слабым здоровьем. Это позволило Рою смолodu познакомиться с высшим светом. Такой возможности он не упустил. В его книгах не найти тех ляпсусов, какие попадают в произведения писателей, изучавших жизнь светского общества лишь по иллюстрированным журналам. Он знал, как разговаривают между собой герцоги и как к ним адресуются члены парламента, адвокаты, букмекеры и камердинеры. Есть что-то пленительное в том изяществе, с каким он в своих первых повестях обращается с вице-королями, посланниками, премьер-министрами, членами королевской семьи и высокопоставленными дамами. Он дружелюбен без покровительственности и фамильярен без дерзости. Он не дает вам забыть об их положении, но вместе с вами с удовлетворением сознает, что они созданы из той же плоти, как и каждый из нас. Я всегда жалел, что по приговору моды жизнь аристократии перестала быть подходящей темой для серьезной литературы, и Рой, всегда чут-

¹⁹ КОМГ – командир ордена Св. Михаила и Св. Георгия.

²⁰ КОВ – командир ордена Виктории.

кий к веяниям времени, вынужден в поздних повестях ограничиваться духовным миром присяжных, поверенных, бухгалтеров и маклеров. В этих кругах он чувствует себя далеко не так свободно.

Я впервые познакомился с ним вскоре после того, как он перестал быть наставником и целиком посвятил себя литературе. Тогда это был видный, статный молодой человек шести футов роста, атлетического сложения, с широкими плечами и уверенными движениями. Он был некрасив, но по-мужски приятен на вид, с большими, честными голубыми глазами и волнистыми светло-каштановыми волосами; у него был довольно короткий, широкий нос и квадратный подбородок. Сразу видно – честный, чистый, здоровый человек.

Он много занимался спортом. Прочитав в его ранних книгах такие точные и яркие описания охоты с гончими, нельзя было усомниться в том, что он писал по собственному опыту; до самого последнего времени он, бывало, покидал свой письменный стол, чтобы денек поохотиться. Его первый роман вышел в те времена, когда литераторы, чтобы показать свою мужественность, пили пиво и играли в крикет; и в течение нескольких лет трудно было найти такую литературную команду, где не фигурировало бы его имя. Не знаю почему, но эта литературная школа сейчас утратила былое великолепие, на ее книги не обращают внимания, и хотя их авторы остались крикетистами, им все труднее печатать свои произведения. Рой уже много лет назад бросил крикет и выработал у себя тонкий вкус к красным сухим винам.

Когда вышла первая повесть Роя, он держался очень скромно. Повесть была невелика, написана добротнo и, как и все, что он писал с тех пор, без единой погрешности против хорошего вкуса. Он послал ее с любезным письмом всем тогдашним ведущим писателям и каждому написал, как он восхищается его произведениями, как много почерпнул, изучая их, и как искренне стремится следовать, пусть на подобающем расстоянии, по пути, проложенному адресатом. Он приносит свою книгу к ногам великого художника как дань уважения со стороны молодого, начинающего литератора к тому, кого он всегда будет считать своим учителем. Умоляя о снисхождении, сознавая, какая с его стороны дерзость – просить столь занятого человека тратить время на жалкие потуги новичка, он все-таки надеется услышать критическое слово и полезные указания.

Лишь немногие из авторов, к которым он обратился, прислали в ответ вежливые отписки. Остальные были польщены и ответили подробно. Книгу они похвалили, а автора многие пригласили на обед. Их не могла не покори́ть такая искренность, не мог не согреть такой энтузиазм. Он просил их совета с трогательным смирением и обещал последовать ему с внушающей доверие непосредственностью. Вот человек, почувствовали они, на которого стоит потратить кое-какие усилия.

Повесть имела значительный успех. Она принесла ему обширные знакомства в литературных кругах, и вскоре ни одно парадное чаепитие в Блумсбери, Кэмден-Хилле или Вестминстере не обходилось без Роя, передающего бутерброды или поспешающего на помощь пожилой леди, чтобы взять у нее пустую чашку. Он был так молод, весел, прям, так заразительно смеялся чужим шуткам, что не мог не нравиться. Он вступил в обеденные клубы, члены которых – литераторы, молодые адвокаты и дамы в ярких платьях, увешанные бусами, – собирались в отелях Виктория-стрит или Холборна, чтобы съесть обед за три с половиной шиллинга и поговорить об искусстве и литературе. Скоро у него обнаружились немалые способности к произнесению послеобеденных речей. Он был так мил, что собратья-писатели, его современники и соперники, простили ему даже благородное происхождение. Он не скупился на похвалы их незрелым произведениям, а получая на отзыв рукопись, никогда не находил в ней недостатков. Все решили, что он не просто славный парень, но и хороший ценитель литературы.

Рой написал вторую повесть. Он очень старался и не пренебрег советами, полученными от старших собратьев по ремеслу. Было лишь справедливо, что многие из них по его просьбе написали рецензии для газет, с редакторами которых договорился Рой, и было лишь есте-

ственно, что рецензии оказались лестными. Повесть имела успех, но не такой, чтобы возбудить у его соперников ревнивые чувства. Наоборот, она подтвердила их подозрение, что он звезд с неба не хватает. Он был отличный парень, ничуть не чванился, и каждый с удовольствием помогал человеку, который никогда не поднимется так высоко, чтобы стать помехой ему самому. Я знаю, что кое-кто теперь горько улыбается, размышляя о своей ошибке.

Но когда говорят, что слава вскружила Рою голову, это неправда. Рой не утратил той скромности, которая в молодости была самой привлекательной его чертой.

– Я знаю, что я не великий писатель, – говорит он. – В сравнении с гигантами я просто не существую. Я думал, что когда-нибудь напишу действительно великую вещь, но уже давно перестал об этом даже мечтать. Я только хочу, чтобы обо мне говорили: он делает все, на что способен. Я тружусь. Я не позволяю себе никакой небрежности. По-моему, я хорошо умею строить сюжет, могу создавать героев, похожих на живых людей. Ну и, в конце концов, все проверяется на практике: в Англии было продано тридцать пять тысяч экземпляров «Игольного ушка», а в Америке – восемьдесят тысяч, и за право печатать мою следующую вещь предлагают столько, сколько мне никогда еще не платили.

В конце концов, что, кроме скромности, побуждает его даже сейчас писать рецензентам, благодарить их за похвалу и приглашать на обед? Больше того, когда кто-нибудь резко его критикует – а Рой, особенно с тех пор, как его репутация упрочилась, не раз подвергался очень злобным нападкам, – он, в отличие от большинства из нас, не может просто пожать плечами, обругать про себя негодяя, которому не понравилась книга, и забыть об этом. Рой посылает критику длинное письмо, рассказывает, как ему жаль, что книга показалась плохой, но что рецензия сама по себе так интересна и, он берет на себя смелость сказать, свидетельствует о таком критическом чутье и вкусе, что он чувствует себя обязанным написать это письмо. Никто более его не стремится совершенствоваться, и он надеется, что еще способен чему-то научиться. Он не хотел бы навязываться, но если у критика нет никаких дел в среду или четверг, то не может ли критик пообедать с ним в «Савое» и объяснить, почему же именно он счел книгу столь плохой?

Никто не может заказать обед лучше Роя, и обычно оказывается, что, проглотив полдюжины устриц и хороший кусок седла молодого барашка, критик проглотил и свои претензии к Рою. Всего лишь справедливо, что, когда выходит следующая книга Роя, критик видит в ней большой шаг вперед.

Одна из трудностей, с которыми приходится сталкиваться в жизни, состоит в том, как быть с людьми, которые когда-то были вашими друзьями, но со временем перестали вас интересоваться. Если положение обеих сторон по-прежнему скромно, то разрыв происходит сам собой и не оставляет никакого следа. Но если один из двоих достиг известности, то дело осложняется. У него множество новых друзей, но старые неумолимы; он очень занят, но они считают, что имеют преимущественное право на его время; если он не бежит по первому их зову, они вздыхают и, пожав плечами, говорят: «Ну что ж, ты, наверное, не лучше других. Как стал теперь большим человеком, так со мной и видаться не пожелаешь».

Разумеется, именно так он и хотел бы поступить, если бы у него хватило мужества. Но в большинстве случаев мужества не хватает. Он поддается и принимает приглашение на воскресный ужин. Холодный ростбиф оказывается чересчур холодным, сделанным из мороженого австралийского мяса, да еще пережаренным; а уж бургундское... и почему только они называют это бургундским? Неужели они никогда не бывали в Боне и не жили в «Отель-де-ля-пост»? Конечно, приятно поболтать о добром старом времени, когда вы делили в мансарде корку хлеба; но вам становится немного не по себе при мысли о том, как недалеко ушла от мансарды комната, в которой вы сидите. Вы успокаиваетесь, когда друг начинает рассказывать про свои книги, которых не покупают, и про свои рассказы, которых не печатают; режиссеры даже не читают его пьес, а когда он сравнивает их с тем, что ставят теперь (тут он бросает на

вас укоряющий взгляд), то это, знаешь ли, просто обидно. Вы смущенно отводите глаза и преувеличиваете собственные неудачи, чтобы он понял, что и вам нелегко живется. Вы как можно пренебрежительнее отзываетесь о собственных произведениях, и вас слегка коробит, когда выясняется, что мнение о них хозяина совпадает с вашими словами. Вы говорите о непостоянстве публики, давая ему возможность утешиться мыслью, что и ваша популярность недолговечна. Он дружески, но строго критикует вас.

«Я не читал твоей последней книги, – говорит он, – но читал предпоследнюю. Забыл, как она называется».

Вы называете ее.

«Я ожидал от нее большего. По-моему, она не так хороша, как те, что ты писал раньше. Ты знаешь, конечно, какая мне больше всех нравится?»

Это не первый такой случай в вашей практике, и вы смело называете самую первую свою книгу. Вам тогда было двадцать лет, книга была бесхитростной и неумелой, и на каждой ее странице запечатлена ваша неопытность.

«Лучше тебе не написать, – говорит он от души, и вы чувствуете, что вся ваша карьера представляет собой долгий путь упадка по сравнению с той, первой, удачей. – Мне все кажется, что ты не совсем оправдал те надежды, которые тогда подавал».

Газовое пламя в камине обжигает вам ноги, но ваши руки холодны как лед. Вы тайком поглядываете на часы и думаете, не обидится ли ваш друг, если вы уйдете в десять. Вы велели шоферу ждать за углом, чтобы машина не стояла у дверей и не оскорбляла своим великолепием бедности друга, но в дверях он говорит:

«Остановка автобуса в конце улицы. Я тебя провожу».

Вы в смущении сознаетесь, что у вас есть машина. Ему кажется очень странным, что она ждет за углом. Вы отвечаете, что это одна из причуд шофера. Когда вы садитесь в машину, друг смотрит на вас со снисходительным превосходством. Вы нервничаете и приглашаете его как-нибудь с вами пообедать. Пообещав прислать ему записку, вы уезжаете, размышляя, не подумает ли он, что вы хвастаете своей шикарной жизнью, если пригласите его в «Кларидж», или что вы скупердяй, если предложите Сохо.

Рой Кир избавлен от подобных переживаний. Если сказать, что он бросал людей, получив от них все, что мог, это прозвучит грубовато; но чтобы выразить то же самое деликатнее, потребуется столько времени и нужно будет так тонко подбирать легкие, игривые намеки и полутона, что поскольку, в сущности, дело обстоит именно так, то этим можно и ограничиться. Большинство из нас, поступив с кем-нибудь нехорошо, сохраняет к нему злобное чувство. Однако ничем не смущаемая душа Роя чужда такой мелочности. Сделав кому-нибудь большую гадость, он способен не питать потом к этому человеку никакой злобы.

«Бедный старина Смит, – говорит он. – Я так его люблю, он просто прелесть. Жаль, что он на меня злится. Я хотел бы что-нибудь для него сделать. Нет, я его уже много лет не видел. Не стоит пытаться поддерживать старую дружбу. Это болезненно для обеих сторон. Ведь человек вырастает из своих старых привязанностей, и тут уж ничего не поделаешь».

Но если он сталкивается с тем же Смитом на каком-нибудь приеме вроде закрытого вернисажа в Королевской академии – никто не может быть более сердечным. Он трясет Смита за руку и говорит, как восхищен встречей. Лицо его сияет. Он источает дружеские чувства, как благодатное солнце – свои лучи. Смит приходит в восторг от такой удивительной сердечности: со стороны Роя было чертовски мило сказать, что он не пожалел бы ничего, лишь бы написать что-нибудь похожее на последнюю книгу Смита.

Если же Рою кажется, что Смит его не видит, он старается отвернуться и смотреть в другую сторону. Однако Смит его видел и остается недоволен тем, что Рой им пренебрег. Смит принимается язвить. Он говорит, что прежде Рой был рад разделить с ним бифштекс в сквер-

ном ресторанчике или провести с ним отпуск в рыбацкой хижине в Сент-Айвсе. Смит говорит, что Рой – предатель. Он говорит, что Рой – сноб. Он говорит, что Рой – лицемер.

Однако в этом Смит не прав. Самая яркая черта Элроя Кира – его искренность. Нельзя лицемерить на протяжении двадцати пяти лет. Лицемерие – самый трудный и утомительный порок из всех, которым человек может предаваться. Оно требует постоянной бдительности и редкой целеустремленности. В нем нельзя упражняться на досуге, как в прелюбодеянии или чревоугодии; оно занимает все ваше время. Лицемерие требует еще и циничного юмора, и, хотя Рой много смеется, я никогда не думал, что чувство юмора у него сильно развито; а уж циником он быть не способен – в этом я уверен. Хотя я дочитал до конца лишь некоторые его книги, но начинал читать многие из них. По-моему, печать искренности лежит на каждой из их многочисленных страниц. Именно это, очевидно, и было главной причиной их устойчивой популярности. Рой всегда искренне верил в то, во что в тот момент верили все остальные. Когда он писал повести об аристократии, он искренне верил, что ее представители развращены и аморальны, но все же им присуще известное благородство и врожденная способность управлять Британской империей. Позже, начав писать о средних классах, он искренне верил, что это хребет нации. Его негодяи всегда были гнусными, герои – возвышенными, а девы – чистыми.

Когда Рой приглашает на обед автора лестной рецензии, то делает это потому, что искренне ему благодарен за доброе мнение; а когда приглашает автора нелестной рецензии, то делает это потому, что искренне стремится исправиться. Когда в Лондон приезжают его неизвестные поклонники из Техаса или Западной Австралии, он водит их по Национальной галерее не только из уважения к своим читателям; он делает это потому, что искренне интересуется впечатлением, которое производит на них искусство.

Чтобы убедиться в его искренности, достаточно послушать, как он читает лекции. Когда он стоит на кафедре в великолепно сидящем фраке или, если это более уместно, в свободном, не очень новом, но безукоризненно сшитом пиджаке, и серьезно, открыто, но с подкупающей скромностью смотрит на слушателей, нельзя сомневаться, что он относится к своей задаче с полной ответственностью. Хотя время от времени он притворяется, будто не может найти нужное слово, это делается только для того, чтобы оно прозвучало более эффектно. Его голос глубок и мужествен. Он хороший рассказчик и никогда не бывает скучным. Он любит читать лекции о молодых писателях Англии и Америки и разъясняет аудитории их достоинства с жаром, свидетельствующим о его великодушии. Быть может, он говорит даже слишком много, потому что, прослушав его лекцию, вы чувствуете, что уже все о них знаете и что вам вовсе не обязательно читать их книги. Я полагаю, именно поэтому после того, как Рой читает лекцию в каком-нибудь провинциальном городке, никто не покупает ни единой книги тех авторов, о которых он рассказывал, но зато спрос на его собственные всегда повышается.

Его энергия неистожима. Он не только совершал успешные турне по Соединенным Штатам, но и изъездил с лекциями всю Великобританию. Нет такого крохотного клуба или ничтожного кружка самообразования, которым Рой не уделит бы хоть часа. Время от времени он обрабатывает свои лекции и издает их в виде маленьких, аккуратных томиков. Большинство людей, этим интересующихся, по крайней мере листали его книги «Современные романисты», «Русская литература» и «Некоторые писатели»; и лишь немногие будут отрицать, что в них чувствуется глубокое понимание литературы и личное обаяние автора.

Но этим отнюдь не исчерпывается его деятельность. Он активный член организаций, призванных защищать интересы авторов или облегчать их участь, когда болезнь или старость доводят их до нищеты. Он всегда рад помочь, когда в законодательных органах рассматриваются вопросы авторского права, и всегда готов войти в состав делегаций, посылаемых за границу для установления дружественных отношений между писателями разных стран. На приемах можно рассчитывать на его ответное слово от имени литературы, и он неизменно входит в комиссии для подобающей встречи какой-нибудь заморской литературной знаменитости. Ни

один благотворительный базар не обходится без экземпляра хотя бы одной из его книг с автографом. Он никогда не отказывает в интервью. Он справедливо говорит, что никто лучше его не знает трудностей литературного ремесла, и что если он может, приятно поболтав с каким-нибудь скромным журналистом, помочь тому заработать несколько гиней, то у него не хватит жестокости ответить отказом. Обычно он приглашает интервьюера пообедать и редко производит на него невыгодное впечатление. Единственное условие, которое он ставит, заключается в том, чтобы просмотреть статью перед ее опубликованием. Его никогда не выводят из себя газетчики, которые в самые неподходящие моменты звонят знаменитому человеку и требуют сообщить читателям, верит ли он в Бога или что ест на завтрак. Он принимает участие во всех публичных диспутах, и все знают, что он думает о сухом законе, вегетарианстве, джазе, чесноке, спорте, браке, политике и месте женщины в доме.

Его взгляды на брак остались абстрактными, ибо он успешно избежал этого состояния, которое столь многие деятели искусства с таким трудом пытались примирить со служением своему призванию. Всем известно, что в течение нескольких лет он питал безнадежную страсть к одной замужней даме из высшего света, и, хотя он говорил о ней не иначе как с рыцарственным преклонением, все догадывались, что она обошлась с ним жестоко. Об этом пережитом им испытании напоминает необычная горечь, которой проникнуты повести, написанные им в середине творческого пути.

Душевные муки, перенесенные им в то время, помогают ему вежливо уклоняться от авансов дам с сомнительной репутацией, которые когда-то были украшением веселых компаний, а теперь стремятся сменить непрочное настоящее на надежный брак с известным писателем. Как только он замечает в их ясных глазах тень брачной конторы, он говорит им, что память о его единственной большой любви не позволит ему принять на себя какие бы то ни было постоянные узы. Его донкихотство может их раздражать, но не может оскорбить. Он едва заметно вздыхает при мысли, что навсегда лишен радостей домашнего очага и отцовства, но он готов на эту жертву. Он заметил, что публика не желает иметь дела с женами писателей и художников. Художник, который повсюду, куда бы ни шел, берет с собой жену, лишь всем надоедает и поэтому часто оказывается не приглашенным туда, куда бы ему хотелось. Если же он оставляет жену дома, то по возвращении его ждет сцена. Это лишает человека покоя, столь необходимого, чтобы добиться всего, на что он способен. Элрой Кир холост, и теперь, когда ему минуло пятьдесят лет, ему, вероятно, предстоит таковым и остаться.

Он являет собой пример того, что может сделать и до каких высот может подняться писатель благодаря трудолюбию, здравому смыслу, честности и умелому сочетанию разнообразных хитростей и уловок. Он неплохой человек, и лишь злостный критикан мог бы позавидовать его успеху. Я почувствовал, что, если засну с мыслями о нем, это обеспечит мне безмятежный сон. Я нацарапал записку мисс Феллоуз, выколотил пепел из трубки, погасил свет в гостиной и лег спать.

II

Когда на следующее утро мне принесли газеты и письма, среди них был и ответ на записку, которую я оставил мисс Феллоуз. Он гласил, что мистер Элрой Кир ожидает меня в час пятнадцать в своем клубе на Сент-Джеймс-стрит. Около часа я заглянул в собственный клуб и выпил коктейль – на то, что меня угостит коктейлем Рой, я не особенно надеялся. Потом я не спеша прошелся по Сент-Джеймс-стрит, разглядывая витрины магазинов, и так как до назначенного времени оставалось еще несколько минут (я не хотел быть чересчур пунктуальным), то я зашел в аукционный зал «Кристи» посмотреть, не приглянется ли мне там что-нибудь. Аукцион уже начался, и стоявшие кучкой смуглые низкорослые люди передавали друг другу серебряные викторианские вещи, а аукционист, скужающим взглядом следя за их движениями, монотонно бормотал: «Предложено десять шиллингов, одиннадцать, одиннадцать с половиной...» Было начало июня, стояла прекрасная погода, воздух на улице был чист и прозрачен, и от этого картины на стенах аукционного зала казались очень тусклыми. Я вышел. Люди шли по улице весело и беззаботно, как будто им в душу проник покой этого дня и среди своих дел они с удивлением ощутили внезапное желание остановиться и взглянуть в картину жизни.

Клуб Роя принадлежал к числу степенных. В вестибюле находились лишь швейцар преклонных лет и рассыльный, и мне неожиданно пришла в голову печальная мысль, что все члены клуба отправились хоронить метрдотеля. Когда я произнес фамилию Роя, рассыльный повел меня в пустой коридор, где я оставил шляпу и трость, а потом в пустой холл, стены которого были увешаны портретами государственных мужей эпохи Виктории в натуральную величину. Рой встал с кожаного дивана и радостно поздоровался со мной.

– Пойдемте прямо наверх? – сказал он.

Я оказался прав, полагая, что он не угостит меня коктейлем, и похвалил себя за предусмотрительность. Он повел меня по величественной парадной лестнице, покрытой тяжелым ковром; ни единой души не попало нам навстречу. Мы вошли в столовую для гостей, где тоже оказались единственными посетителями. Это была комната солидных размеров, очень чистая и белая, с большим окном, украшенным роскошными лепными гирляндами. Мы уселись около него, и сдержанный официант подал нам карточку. Говядина, баранина, холодная лососина, пирог с ревенем, пирог с крыжовником... Пробегая этот неизбежный список, я вздохнул при мысли о ресторанах за углом, где была французская кухня, кипела жизнь и сидели хорошенькие, накрашенные женщины в летних платьях.

– Рекомендую паштет из телятины с ветчиной, – сказал Рой.

– Ладно.

– Салат я смешаю сам, – сказал он официанту небрежно, но властно, а потом, еще раз взглянув в карточку, великодушно добавил: – А как насчет спаржи?

– Очень хорошо.

Он сделался еще величественнее.

– Спаржу на двоих, и скажите шефу, чтобы выбрал сам. Ну а что бы вы хотели выпить? Что вы скажете о бутылке рейнвейна? Мы здесь большие любители рейнвейна.

Когда я согласился, он велел официанту позвать управляющего винным погребом. Я не мог не восхищаться тем властным, но безукоризненно вежливым тоном, каким он отдавал приказания. Чувствовалось, что именно так должен хорошо воспитанный король посылать за каким-нибудь своим фельдмаршалом. Дородный управляющий в черном костюме с серебряной цепью на шее – знаком своей должности – поспешил явиться с картой вин в руках. Рой кивнул ему со сдержанной фамильярностью:

– Здравствуйте, Армстронг. Мы хотим «Либфраумильх» двадцать первого года.

– Хорошо, сэр.

– Много его еще осталось? Знаете, ведь больше его не достать.

– Боюсь, что нет, сэр.

– Ну, нечего тревожиться раньше времени. Верно, Армстронг?

Рой добродушно улыбнулся управляющему. Опыт многолетнего общения с членами клуба подсказал тому, что это замечание требовало ответа.

– Да, сэр.

Рой засмеялся и взглянул на меня. Занятный человек этот Армстронг.

– Так вот, заморозьте его, Армстронг. Не слишком, а в самую меру. Покажите моему гостю, что мы здесь понимаем в этом толк.

Он повернулся ко мне:

– Армстронг служит у нас уже сорок восемь лет.

Когда управляющий ушел, Рой сказал:

– Надеюсь, вы не пожалеете, что пришли сюда. Здесь тихо, и мы сможем как следует поговорить. Давненько нам это не удавалось. А вы как будто в прекрасной форме.

Это привлекло мое внимание к внешности Роя.

– Но до вас мне далеко, – ответил я.

– Плоды честной, трезвой и праведной жизни, – засмеялся он. – Много работы. Много спорта. Как ваши успехи в гольфе? Надо будет нам как-нибудь сыграть партию.

Я знал, что Рой прекрасно играет в гольф и что меньше всего он стремится к тому, чтобы потерять целый день с посредственным игроком вроде меня. Но я почувствовал, что мне ничего не грозит, если даже я и приму столь неопределенное приглашение.

Рой выглядел воплощением здоровья. В его вьющихся волосах появилась сильная проседь, но она ему шла и делала еще моложе его открытое, загорелое лицо. Глаза его, глядевшие на мир с таким неподдельным чистосердечием, были ясны и чисты. Он уже утратил былую стройность, и я не удивился, что, когда официант принес булочки, Рой попросил для себя диетических хлебцев. Легкая полнота лишь усугубляла его достоинство: она придавала больший вес его словам. Из-за того, что его движения стали более неторопливыми, чем раньше, вас охватывало приятное чувство доверия к нему; он так плотно заполнял свое кресло, что трудно было отделаться от впечатления, будто он сидит на постаменте.

Не знаю, удалось ли мне, излагая здесь разговор Роя с официантом, показать, что его беседа обычно не отличалась ни остроумием, ни блеском, но он говорил непринужденно и так много смеялся, что иногда казалось, будто его слова и вправду остроумны. У него всегда находилось что сказать, и он мог обсуждать злободневные темы с такой легкостью, что его собеседники не чувствовали никакого напряжения мысли.

Писатели всю жизнь работают над словом, и многим из них свойственна дурная привычка слишком точно подбирать выражения в разговоре. Сами того не замечая, они правильно строят фразы, означающие именно то, что они хотят сказать, – не больше и не меньше. Этим они несколько отпугивают лиц из высших слоев общества, чей лексикон ограничен их нехитрыми духовными потребностями, и такие лица не без колебаний вступают с ними в беседу. С Роем никто никогда не чувствовал подобного стеснения. С танцором-гвардейцем он мог разговаривать, пользуясь совершенно понятными ему словами, с графиней – любительницей скачек мог вести беседу на языке конюхов. О нем с восторгом и облегчением говорили, что он ничуть не похож на писателя. Не было комплимента, который доставлял бы ему большее удовольствие.

Благоразумные люди всегда употребляют множество ходячих фраз, общепринятых эпитетов, глаголов, смысл которых известен лишь тем, кто вращается в определенном кругу; эти дешевые блески украшают светскую беседу и избавляют от необходимости думать. Американцы, самые изобретательные люди на земле, довели такой способ до столь высокого совершенства и выдумали столь широкий ассортимент многозначительных банальностей, что могут вести занимательный и оживленный разговор, ни на мгновение не задумываясь над тем, что

говорят. Это освобождает их мозг для размышления о более важных вопросах – например, о большом бизнесе или о прелюбодеянии. У Роя тоже был обширный репертуар, а чутьем на модные словечки он обладал безошибочным; они в изобилии, но всегда к месту уснащали его речь, и он вставлял их каждый раз с радостной готовностью, как будто только сию минуту их породило его воображение.

На этот раз он говорил о том о сем, о наших общих знакомых, о новых книгах, об опере. Он был очень весел. Он всегда отличался жизнерадостностью, но сегодня от его веселья просто захватывало дух. Он сетовал на то, что мы так редко видимся, и с той прямоотой, которая была одной из его приятнейших черт, говорил мне, как он меня любит и какого высокого обо мне мнения. Я чувствовал, что должен ответить ему тем же дружелюбием. Он расспрашивал меня о книге, которую писал я, а я расспрашивал его о книге, которую писал он. Мы пожаловались друг другу, что ни один из нас не пользуется тем успехом, какого заслуживает. Мы съели паштет из телятины с ветчиной, и Рой рассказал мне, как он смешивает салат. Мы пили рейнвейн и одобрительно причмокивали губами.

А я все думал, когда же он доберется до сути дела. Я не мог заставить себя поверить, что в разгар лондонского сезона Элрой Кир способен потратить целый час на собрата по перу, который не ведет критического раздела и не пользуется никаким влиянием решительно нигде, – только для того, чтобы поговорить о Матиссе, русском балете и Марселе Прусте. Кроме того, за его весельем я смутно чувствовал, что он как будто чего-то ждет. Не знаю я, что он процветает, я бы заподозрил его в намерении занять у меня сотню фунтов.

Дело шло к тому, что обед кончится, а ему так и не представится случай высказаться. Я знал, что он осторожен. Может быть, он решил, что лучше воспользоваться этой первой после столь долгой разлуки встречей лишь для восстановления дружеских отношений, и рассматривал нашу приятную, обильную трапезу лишь как приманку?

– Пойдемте пить кофе в соседнюю комнату? – предложил он.

– Пожалуйста.

– По-моему, там удобнее.

Я прошел за ним в другую комнату, гораздо более просторную, с огромными кожаными креслами и необозримыми диванами; на столах здесь лежали газеты и журналы. В углу вполголоса разговаривали два старых джентльмена. Они враждебно взглянули на нас, но это не помешало Рою дружески их приветствовать.

– Здравствуйте, генерал, – воскликнул он, весело кивнув головой.

Я постоял у окна, глядя на открывавшийся за ним радостный день, и пожалел, что плохо знаю исторические события, связанные с Сент-Джеймс-стрит. К моему стыду, я не знал даже названия клуба напротив, а спросить Роя боялся, чтобы он не начал презирать меня за незнание вещей, известных каждому приличному человеку. Он подозвал меня, спросив, буду ли я пить с кофе коньяк, и когда я отказался, продолжал настаивать. Клуб славился своим коньяком. Мы сели рядом на диван у элегантного камина и закурили сигары.

– Здесь со мной обедал Эдуард Дриффилд, когда в последний раз перед смертью был в Лондоне, – небрежно сказал Рой. – Я заставил старика попробовать наш коньяк, и он был в восторге. В прошлое воскресенье я побывал в гостях у его вдовы.

– В самом деле?

– Она передавала вам всяческие приветы.

– Очень мило с ее стороны. Я не думал, что она меня помнит.

– Ну как же, конечно, помнит. Вы обедали там лет шесть назад, верно? Она говорит, что старик был так рад вас видеть.

– Она-то, по-моему, была не очень рада.

– О нет, вы ошибаетесь. Ну конечно, ей приходилось соблюдать большую осторожность. Старика просто осаждали люди, которые хотели с ним увидеться, и она должна была беречь его

силы. Она всегда боялась, что он переутомится. Уж если на то пошло, вообще удивительно, как это он у нее продержался, да еще в здравом уме и твердой памяти, до восьмидесяти четырех лет. После его смерти я довольно-таки часто ее видел. Она очень одинока. В конце концов, она двадцать пять лет только и делала, что ухаживала за ним. А это, знаете, нелегко. Мне ее вправду жаль.

– Она сравнительно молода. Пожалуй, еще выйдет замуж.

– О нет, она не сможет этого сделать. Это было бы ужасно.

Мы пригубили коньяк и помолчали.

– Вы, кажется, один из тех немногих, кто знал Дриффила, пока он еще не пользовался известностью. Вы когда-то часто с ним виделись, верно?

– Более или менее. Я был почти мальчишкой, а он уже был в летах. Так что закадычными приятелями мы не были.

– Может быть, и нет, но вы, наверное, знаете о нем много такого, чего другие не знают.

– Пожалуй, да.

– А вам никогда не приходило в голову написать о нем воспоминания?

– Что вы, конечно, нет!

– А не кажется ли вам, что вы должны это сделать? Это же был один из великих романистов нашего времени. Последний из викторианцев. Исполин. Если каким-нибудь книгам, написанным за последние сто лет, суждено бессмертие, то это его романы.

– Сомневаюсь. Мне они всегда казались довольно скучными.

Рой поглядел на меня смеющимися глазами.

– Как это похоже на вас! Во всяком случае, вы должны признать, что находитесь в меньшинстве. Я не стыжусь сознаюсь, что читал его книги не раз и не два, а раз по пять, и с каждым разом они кажутся мне все лучше и лучше. Вы читали, что писали о нем после его смерти?

– Кое-что.

– Единодушие было просто потрясающим. Я прочел все.

– Но если везде говорилось одно и то же, стоило ли все читать?

Рой добродушно пожал плечами, но не ответил.

– По-моему, великолепно выступил «Таймс литерари сапплмент». Старик был бы рад, если бы прочел. Я слышал, что «Куортерли» готовит о нем статью в следующем номере.

– А я все равно считаю, что романы у него довольно скучные.

Рой снисходительно улыбнулся:

– Вас не смущает то, что ваше мнение расходится со всеми авторитетами?

– Ничуть. Я пишу уже тридцать пять лет, и вы не можете себе представить, сколько писателей на моих глазах были провозглашены гениями, час-другой наслаждались славой и погрузились в забвение. Любопытно, что потом с ними случилось. Умерли они, или попали в сумасшедший дом, или где-нибудь служат? Может быть, они живут в захолустных деревушках и украдкой дают почитать свои книги местному доктору и старым девам из благородных семей? А может, их все еще считают великими людьми в каком-нибудь итальянском пансионе?

– Да, это неудачники. Я знавал таких.

– Вы даже читали о них лекции.

– Приходится. Почему не помочь людям, если можешь и если знаешь, что из них все равно ничего не получится? Черт возьми, можем же мы себе позволить быть великодушными! И потом, у Дриффила нет с ними ничего общего. В полном собрании его сочинений тридцать семь томов, и последний экземпляр был продан на аукционе у «Сотбис» за семьдесят восемь фунтов. Это говорит само за себя. Тиражи его книг росли из года в год и в прошлом году были больше, чем когда-либо раньше. Можете мне поверить, эти цифры показывала мне миссис Дриффилд, когда я был там в последний раз. Дриффилд останется навсегда.

– Кто знает?

– Ну, по-вашему, вы все знаете, – съязвил Рой в ответ, но я не смутился. Я знал, что мои слова раздражают его, и это доставляло удовольствие.

– По-моему, первые впечатления, оставшиеся у меня с детства, были правильными. Мне говорили, что Карлайл – великий писатель, и мне было очень стыдно, когда я убедился, что не могу прочесть «Французскую революцию» и «Сартор ресартус». А кто их читает теперь? Чужие мнения казались мне вернее собственных, и я заставлял себя считать великолепным писателем Джорджа Мередита. Но про себя я думал, что он пишет выпендренно, неискренне и многословно. Сейчас многие так считают. Мне говорили, что культурный молодой человек должен восхищаться Уолтером Патером, и я им восхищался, но, Боже мой, какая скучища его «Мариус»!

– Ну конечно, Патера, по-моему, теперь в самом деле никто не читает, и от Мередита уже ничего не осталось, а что до Карлайла, то это попросту претенциозный болтун...

– Но вы не представляете, как уверены были все в их бессмертии тридцать лет назад.

– И вы никогда не делали ошибок?

– Одну или две. Я и наполовину так не ценил Ньюмена, как ценю сейчас, а звонкие четверостишия Фицджеральда нравились мне гораздо больше, чем теперь. Я не смог одолеть «Вильгельма Мейстера» Гете, а теперь считаю его шедевром.

– А что из того, что казалось вам хорошим тогда, нравится и сейчас?

– Ну, «Тристрам Шенди», и «Эмилия», и «Ярмарка тщеславия». «Мадам Бовари», «Пармская обитель» и «Анна Каренина». И Вордсворт, и Китс, и Верлен.

– Вы, конечно, извините, но я позволю себе заметить, что это не особенно оригинально.

– Пожалуйста. Я и не думаю, что это оригинально. Но вы спросили, почему я доверяю своему собственному суждению, и я попытался объяснить: что бы я ни утверждал из робости и из уважения к тогдашнему просвещенному мнению, на самом деле я не восхищался некоторыми авторами, которых тогда считали достойными восхищения. И время как будто показало, что я был прав. А то, что мне тогда откровенно и инстинктивно нравилось, выдержало испытание временем и для меня, и для критики вообще.

Рой помолчал. Он заглянул в свою чашку – не знаю, хотел ли он посмотреть, не осталось ли там еще кофе, или пытался найти что сказать. Я поднял глаза на часы над камином. Через минуту я смогу уйти, не нарушая приличий. Может быть, я все-таки ошибался и Рой пригласил меня лишь для того, чтобы поболтать о Шекспире и музыкальных новинках? Я упрекнул себя за то, что так дурно о нем думал, и бросил на него сочувственный взгляд. Если такова была его единственная цель, это могло означать одно: он устал и разочарован. Такое бескорыстие могло свидетельствовать лишь о том, что, по крайней мере в данный момент, у него на душе скверно.

Но он заметил, что я посмотрел на часы, и заговорил:

– Не понимаю, как вы можете отрицать, что если человек на протяжении шестидесяти лет пишет книгу за книгой и пользуется все растущей популярностью, – значит, в нем что-то есть? Ведь в Ферн-Корте целые шкафы забиты переводами книг Дрифилда на языки всех цивилизованных народов. Конечно, я согласен, многое из того, что он написал, в наше время кажется слегка старомодным. Он расцвел в неудачную эпоху, и у него осталась склонность к пустословию. Большая часть его сюжетов мелодраматична. Но вы должны согласиться, что одно достоинство у него есть – это чувство прекрасного.

– В самом деле? – сказал я.

– В конце концов, это самое главное, а у Дрифилда нет такой страницы, которая не была бы проникнута чувством прекрасного.

– Да? – сказал я.

– Жаль, что вас не было, когда мы поехали преподносить ему к восьмидесятилетнему юбилею его портрет. Это было действительно памятное событие.

– Я читал об этом в газетах.

– Знаете, там были не только писатели – это было очень представительное общество: наука, политика, деловой мир, искусство, высший свет. Не часто собирается такая коллекция знаменитостей, как та, что вышла тогда из поезда в Блэкстебле. Все были ужасно тронуты, когда премьер вручил старику орден «За заслуги». Он произнес прекрасную речь. Я не стыжусь сказать, что у многих в тот день навернулись слезы на глаза.

– А Дриффилд тоже плакал?

– Нет, он держался на удивление спокойно. Он был, как всегда – такой, знаете, чуть застенчивый, скромный, с безупречными манерами. Он, конечно, был полон благодарности, но немного суховат. Миссис Дриффилд боялась, чтобы он не переутомился, и когда мы сели обедать, он остался в кабинете, а она велела отнести ему кое-что на подносе. Пока все пили кофе, я улизнул к нему. Он курил трубку и глядел на портрет. Я спросил, понравился ли ему портрет. Он ничего не ответил, только чуть улыбнулся. Потом он спросил, как я считаю, можно ли ему вынуть зубные протезы, а я сказал, что нет и что вся депутация сейчас придет прощаться. Потом я спросил, не думает ли он, что это удивительные минуты. «Занятно, – сказал он. – Очень занятно». По-моему, он был просто потрясен. В последние годы он очень неопратно ел, да и курил тоже – весь обсыпался табаком, когда набивал трубку. Миссис Дриффилд не любила, чтобы он в таком виде показывался людям, но я-то, конечно, был не в счет. Я почистил его, а потом все пришли позвать ему руку, и мы возвратились в город.

Я встал.

– Ну, мне в самом деле пора. Я очень рад, что с вами повидался.

– Я сейчас собираюсь на закрытый вернисаж в Лестерскую галерею. Я там кое-кого знаю. Если хотите, я вас проведу.

– Это очень любезно с вашей стороны, но они прислали мне приглашение. Нет, я, пожалуй, не пойду.

Мы спустились по лестнице, и я взял шляпу. Когда мы вышли на улицу и я повернул в сторону Пиккадилли, Рой сказал:

– Я провожу вас до угла.

Он зашагал со мной в ногу.

– Вы ведь знали его первую жену?

– Чью?

– Дриффилда.

– А! – Я уже забыл о нем. – Да.

– Хорошо знали?

– Достаточно хорошо.

– Кажется, она была просто ужасна.

– Этого я что-то не припомню.

– Как будто страшно вульгарная женщина. Ведь она была буфетчицей, да?

– Верно.

– Не понимаю, как его угораздило на ней жениться. Я везде слышал, что она изменяла ему на каждом шагу.

– Да, на каждом шагу.

– Вы вообще-то помните, какая она была?

– Прекрасно помню. – Я улыбнулся. – Она была прелесть.

Рой усмехнулся:

– Большинство о ней другого мнения.

Я промолчал. Мы дошли до Пиккадилли, и я, остановившись, протянул ему руку. Он пожал ее, но, как мне показалось, без своей обычной сердечности. У меня осталось впечатление, будто он разочарован нашей встречей. Я не мог понять почему. Он не добился от меня, чего хотел, по той простой причине, что не дал мне ни малейшего намека на то, что бы это

могло быть. Не спеша шагая мимо аркады отеля «Ритц» и вдоль ограды парка до угла Хаф-Мун-стрит, я размышлял, не было ли мое поведение более обычного отпугивающим. Ясно, что Рой счел случай неподходящим, чтобы просить меня о каком-то одолжении.

Я свернул на Хаф-Мун-стрит. После веселой суматохи Пиккадилли здесь царила приятная тишина. Это была почтенная, респектабельная улица. В большинстве домов здесь сдавались квартиры, но об этом не извещали вульгарные объявления: на некоторых об этом гласили начищенные до блеска медные таблички, какие вывешивают врачи, на окнах других было аккуратно выведено: «Квартиры». На одном-двух особенно благопристойных домах просто была обозначена фамилия владельца: не зная, в чем дело, можно было подумать, что здесь помещается портной или ростовщик. В отличие от Джермин-стрит, где тоже сдают комнаты, здесь не было такого напряженного уличного движения; только кое-где у дверей стояли пустые шикарные машины да иногда такси высаживало какую-нибудь пожилую леди. Чувствовалось, что здесь живут не веселые обитатели Джермин-стрит с их чуть сомнительной репутацией – любители скачек, встающие по утрам с головной болью и требующие рюмочку, чтобы прийти в себя, – а респектабельные дамы, приехавшие из провинции на шесть недель в разгар лондонского сезона, и пожилые джентльмены, принадлежащие к клубам, куда не всякого пускают. Чувствовалось, что они из года в год приезжают в один и тот же дом и, может быть, знавали его владельца, еще когда он был в услужении. Моя хозяйка мисс Феллоуз когда-то служила кухаркой в нескольких очень хороших домах, но вы бы никогда об этом не догадались, увидев ее идущей за покупками на рынок. Она была ни толстой, ни краснолицей, ни неряшливой, какими мы обычно представляем себе кухарок: это была женщина средних лет, худая, с решительным выражением лица; держалась она очень прямо, одевалась скромно, но по моде, красила губы и носила монокль. Она отличалась деловитостью, хладнокровием, спокойным цинизмом и брала очень дорого.

Я снимал у нее комнаты в первом этаже. Гостиная была оклеена старыми обоями под мрамор, а на стенах висели акварели, изображавшие всякие романтические сцены: кавалеров, расстающихся со своими дамами, и рыцарей былых времен, пирующих в роскошных залах. В комнате стояли высокие папоротники в горшках, а кресла были обиты выцветшей кожей. Комната чем-то странно напоминала о восьмидесятих годах, только за окном вместо собственных экипажей проезжали «крайслеры». Окна задерживались занавесями из тяжелого красного репса.

III

В этот день у меня было много дел, но разговор с Роем и то ощущение, которое, не знаю почему, сильнее обычного охватило меня, как только я вошел в свою комнату, – ощущение позавчерашнего дня, продолжающего жить в памяти еще не старых людей, – все это побуждало к тому, чтобы погрузиться в воспоминания. Как будто меня обступили все, кто когда-то жил в этой комнате, с их старомодными манерами, в странных одеждах: мужчины с подстриженными бачками и в сюртуках, женщины в юбках с турнюрами и в оборках. Отдаленный городской шум, который я не то слышал, не то воображал (дом стоял в самом конце Хаф-Мун-стрит), и прелесть солнечного июньского дня (*le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui*²¹) придали моим грезам особую остроту, не лишенную приятности. Казалось, прошлое, в которое я вглядывался, потеряло свою реальность, и я как будто из заднего ряда темной галерки смотрел сцену из какой-то пьесы. Но возникавшие передо мной картины не смазывались, как в жизни, когда непрестанная толчея впечатлений лишает их отчетливости, а были четкими, резкими и определенными, как пейзаж, тщательно выписанный художником середины викторианской эпохи.

По-моему, жизнь сейчас стала интереснее, чем сорок лет назад, и мне кажется, что люди стали общительнее. Конечно, может быть, тогда они были достойнее и добродетельнее или, как говорят, мудрее. Не знаю; знаю только, что они были сварливее, слишком много ели, частенько слишком много пили и вели слишком малоподвижную жизнь. У них вечно была не в порядке печень, а нередко – и пищеварение. Они были раздражительны. Я говорю не о Лондоне, которого совершенно не знал, пока не стал взрослым, и не о знати, увлекавшейся охотой; я имею в виду провинцию и людей помельче – джентльменов с небольшим доходом, священников, отставных офицеров и тому подобных, тех, кто составлял местное общество. Их жизнь была невероятно скучной. В гольф тогда не играли; кое-где были скверные теннисные корты, но играла в теннис лишь молодежь; раз в год в собрании устраивались танцы; в послеобеденное время те, у кого были экипажи, ездили кататься, а остальные «делали моцион»!

Конечно, они не сознавали, что лишены развлечений, о существовании которых и не подозревали, и увеселяли себя тем, что время от времени устраивали маленькие приемы (чай, на который приходили со своими музыкальными инструментами и исполняли песни Мод Валери Уайт и Тости); но дни тянулись долго, и люди скучали. Соседи, обреченные прожить до конца своих дней в миле друг от друга, ссорились не на жизнь, а на смерть и, ежедневно встречаясь в городе, не здоровались на протяжении двадцати лет. Они были тщеславны, упрямы и своенравны. Такая жизнь нередко порождала необычные типы: люди не были так похожи друг на друга, как сейчас, и создавали себе некоторую известность своими причудами, но поладить с ними было нелегко. Может быть, мы в самом деле легкомысленны и беззаботны, но мы не питаем друг к другу такой подозрительности. Мы грубоваты, но добродушны, более уживчивы и не так чванливы.

Я жил у дяди и тети на окраине маленького приморского городка в Кенте. Город назывался Блэкстебл, и дядя был в нем приходским священником. Тетя происходила из очень знатной, но обедневшей немецкой семьи и принесла с собой в приданое только письменный стол-маркетри, изготовленный по заказу одного из ее предков в семнадцатом веке, и набор бокалов. К тому времени, как я появился на сцене, из них осталось лишь несколько штук, служивших украшением гостиной. Мне очень нравился выгравированный на них большой герб. Там было не знаю сколько полей, значение которых тетя объясняла мне с полной серьезностью, прекрасные геральдические звери и невероятно романтичный шлем, возвышавшийся над короной. Тетя была простодушная, кроткая и благожелательная старая леди, но, хоть она и прожила

²¹ Начало стихотворения Ст. Малларме «Лебедь».

тридцать лет замужем за скромным священником с очень небольшим доходом сверх жалования, она не забыла своего высокородного происхождения. Когда соседний дом снял на лето богатый лондонский банкир, сейчас хорошо известный в финансовых кругах, и мой дядя нанес ему визит (я полагаю, главным образом ради того, чтобы добиться от него пожертвования в фонд поощрения священнослужителей), она отказалась поехать к нему – ведь он был не двоюродник. И никто не упрекнул ее в снобизме: все сочли это вполне естественным. У банкира был сын примерно моего возраста, и, уж не помню как, я с ним познакомился. Я до сих пор не забыл, какой последовал спор, когда я попросил разрешения пригласить его к нам. Разрешение было нехотя дано, но побывать в гостях у него мне не позволили. Тетя сказала, что так я, чего доброго, попрошусь в гости и к угольщику, а дядя добавил:

– Дурные знакомства портят хорошие манеры.

Каждое воскресенье банкир приходил в церковь на утреннюю службу и каждый раз оставлял на блюде для пожертвований полсовершенна. Но если он думал, что его щедрость производит благоприятное впечатление, он сильно ошибался. Об этом знал весь Блэкстебл, но все считали, что он лишь кичится своим богатством.

Блэкстебл состоял из одной извилистой улицы, выходившей к морю, с маленькими двухэтажными домами. Часть их составляли особняки, но немало было и лавок. От этой улицы отходили короткие улочки, заканчивавшиеся с одной стороны в поле, а с другой – в болотах. Гавань была окружена лабиринтом узких кривых переулков. Уголь в Блэкстебл доставляли пароходами из Ньюкасла, и в гавани кипела жизнь. Когда я подростом настолько, что мне разрешили гулять одному, я часами бродил здесь, разглядывал грубоватых перемазанных моряков в шерстяных фуфайках и смотрел, как разгружают уголь.

В Блэкстебле я и встретился впервые с Эдуардом Дрифилдом. Мне тогда было пятнадцать лет, и я только что приехал на каникулы. В первое же утро я взял полотенце и купальные трусы и отправился на пляж. Небо было чистое, воздух горячий и прозрачный, а Северное море придавало ему особенный привкус, так что просто жить и дышать было наслаждением. Зимой жители Блэкстебла торопливо шагали по пустым улицам, съехившись и стараясь подставить жгучему восточному ветру как можно меньшую поверхность тела. Но теперь они никуда не спешили и стояли кучками между «Герцогом Кентским» и расположенным чуть дальше по улице «Медведем и ключом». Слышался их протяжный восточноанглийский говор; может быть, он и некрасив, но я до сих пор по старой памяти нахожу в нем какое-то ленивое очарование. У них были розовые лица с голубыми глазами и высокими скулами и светлые волосы. Они производили впечатление чистых, честных и искренних людей. Не думаю, чтобы они отличались особенным умом, но были бесхитростны и простодушны. Выглядели они здоровыми и, несмотря на невысокий рост, были по большей части сильны и подвижны. В то время уличного движения в Блэкстебле почти не существовало, и кучкам людей, болтавших между собой там и сям на дороге, почти не приходилось уступать место экипажам – разве что проезжала двуколка доктора или фургон булочника.

Мимоходом я зашел в банк, чтобы поздороваться с управляющим, который состоял у моего дяди церковным старостой, и, выходя оттуда, встретил дядинного помощника. Он остановился, чтобы пожать мне руку. Его сопровождал какой-то незнакомец, которому он меня не представил. Это был невысокий бородатый человек, одетый довольно безвкусно: светло-коричневый костюм с бриджами, туго обтягивающими ноги ниже колен, темно-синие чулки, черные башмаки и шляпа с низкой тульей и широкими полями. Тогда бриджей почти не носили, и я по молодости лет тут же решил, что это человек дурного тона. Но пока я болтал с дядиним помощником, он дружелюбно смотрел на меня с улыбкой в светло-голубых глазах. Я чувствовал, что ему ничего не стоит присоединиться к нашему разговору, и принял надменный вид. Я не желал, чтобы со мной заговорил этот мужлан, одетый в бриджи, как лесничий, а фамильярно-добродушное выражение его лица меня возмущало. Сам я был одет безукоризненно:

белые фланелевые брюки, голубая фланелевая куртка с гербом школы на нагрудном кармане и черно-белая шляпа с очень широкими полями.

Вскоре дядин помощник сказал, что ему пора идти (я был счастлив, потому что никогда не отличался умением закончить уличный разговор и вечно сгорал от застенчивости, тщетно поджидая удобного случая), но добавил, что после обеда зайдет к нам, и попросил передать это дяде. Незнакомец кивнул и улыбнулся мне на прощанье, но я смерил его ледяным взглядом. Я решил, что он дачник, а с дачниками мы в Блэкстебле дела не имели, считая лондонцев вульгарными. Мы говорили: ужасно, что каждый год сюда приезжает вся эта городская шваль, но, конечно, это необходимо для блага торгового сословия. Впрочем, даже оно вздыхало с некоторым облегчением, когда сентябрь подходил к концу и Блэкстебл вновь погружался в свой обычный мир и покой.

Придя домой к обеду с еще мокрыми, прилипшими к голове волосами, я сказал, что встретил дядиного помощника и что он после обеда придет.

– Сегодня ночью умерла старая миссис Шеперд, – объяснил дядя.

Дядиного помощника звали Гэллоуэй; это был высокий, тощий, нескладный человек с растрепанными черными волосами и маленьким, болезненным смуглым лицом. Вероятно, он был еще совсем молод, но мне казался пожилым. Говорил он очень быстро и сильно жестикулировал. Из-за этого люди считали его немного странным, и мой дядя не взял бы его к себе в помощники, если бы не его огромная энергия: дядя был крайне ленив и очень обрадовался, что нашелся человек, готовый принять на себя столько работы.

Покончив с делами, мистер Гэллоуэй зашел попрощаться с тетей, и она пригласила его остаться пить чай.

– С кем это вы были сегодня утром? – спросил я его, как только он сел.

– О, это Эдуард Дриффилд. Я вас не познакомил, потому что не знал, будет ли ваш дядя доволен таким знакомством.

– Я думаю, это было бы крайне нежелательно, – сказал дядя.

– А почему? Кто он такой? Он не из Блэкстебла?

– Он родился в нашем приходе, – сказал дядя. – Его отец был управляющим у старой мисс Вулф в Ферн-Корте. Но они не принадлежали к нашей церкви.

– Он женился на девушке из Блэкстебла, – сказал мистер Гэллоуэй.

– И венчались, кажется, по нашему обряду, – сказала тетя. – Правда, что она была буфетчицей в «Железнодорожном гербе»?

– Судя по ее виду, вполне могла быть, – ответил мистер Гэллоуэй с улыбкой.

– Надолго они сюда?

– Да, как будто. Они сняли дом в том переулке, где церковь конгрегационалистов.

Хотя новые улицы Блэкстебла, несомненно, имели названия, никто в городе тогда их не знал и не употреблял.

– А он в церковь ходит? – спросил дядя.

– Еще не спрашивал, – ответил мистер Гэллоуэй. – Знаете, он вполне образованный человек.

– Трудно поверить.

– Насколько я знаю, он кончил хэвершемскую школу и получил массу всяких стипендий и призов. Его послали учиться в Уодхэм, но он сбежал и поступил в матросы.

– Я слышал, что он человек довольно легкомысленный, – сказал дядя.

– Но он не похож на моряка, – заметил я.

– О, он это занятие бросил много лет назад. С тех пор кем он только не перебивал.

– Всего понемногу, и ничего толком, – сказал дядя.

– А теперь, насколько мне известно, он писатель.

– Ну, это ненадолго.

Я никогда еще не видел писателя и заинтересовался.

– А что он пишет? – спросил я. – Книжки?

– Кажется, – ответил дядин помощник, – и еще статьи. В прошлом году весной он напечатал повесть. Он обещал дать ее почитать.

– На вашем месте я не стал бы тратить время на всякую чушь, – сказал дядя, который никогда ничего не читал, кроме «Таймс» и «Гардиан».

– А как она называется? – спросил я.

– Он говорил мне название, но я забыл.

– Во всяком случае, тебе совершенно не обязательно это знать, – сказал дядя мне. – Я категорически возражаю против того, чтобы ты читал эту дрянь. Самое лучшее для тебя – провести каникулы на воздухе. К тому же у тебя, кажется, есть задание на лето?

Задание действительно было – «Айвенго». Я читал его, когда мне было десять лет, и теперь перспектива перечитывать его и писать о нем сочинение приводила меня в отчаяние.

Думая о том величии, которого достиг впоследствии Эдуард Дриффилд, я не могу не улыбаться при воспоминании о том, как его персону обсуждали за столом моего дяди. Недавно, после смерти Дриффилда, когда его почитатели начали кампанию за то, чтобы он был погребен в Вестминстерском аббатстве, нынешний блэкстеблский священник, третий по счету после моего дяди, написал письмо в редакцию «Дейли мейл», в котором указал, что Дриффилд родился в этом приходе и не только провел здесь многие годы, особенно на протяжении последних двадцати пяти лет, но и сделал город местом действия нескольких самых знаменитых своих книг; поэтому было бы естественно, чтобы его прах покоился на том кладбище, где под сенью кентских вязов почивают в мире его отец и мать. Блэкстебл был в восторге, когда вестминстерский настоятель довольно резко отказал в разрешении захоронить Дриффилда в аббатстве и миссис Дриффилд напечатала в газетах полное достоинства открытое письмо, где выражала уверенность, что исполняет заветное желание покойного мужа, хороня его среди простых людей, которых он так хорошо знал и любил. Если только почтенные горожане Блэкстебла не изменились в корне с тех пор, как я их знал, им должны были не очень понравиться эти слова насчет «простых людей», но, как я узнал впоследствии, они так или иначе всегда терпеть не могли вторую миссис Дриффилд.

IV

Два или три дня спустя после обеда с Элроем Киром я, к своему удивлению, получил письмо от вдовы Эдуарда Дриффила. Оно гласило:

Дорогой друг,

я слышала, что Вы на прошлой неделе имели долгий разговор с Роем об Эдуарде Дриффила, и была очень рада, узнав, что Вы так хорошо о нем отзывались. Он часто говорил мне о Вас. Он восхищался Вашим талантом и был так рад, когда Вы приехали к нам обедать. Я подумала – нет ли у Вас каких-нибудь писем от него; если есть, не предоставите ли Вы мне их копии? Я была бы очень рада, если бы смогла уговорить Вас приехать сюда ко мне на два-три дня. Я теперь живу очень уединенно, здесь никто не бывает, так что приезжайте, когда Вам будет удобно. Я с удовольствием снова увидаюсь с Вами, и мы поболтаем о прежних временах. Я хочу попросить Вас об одном одолжении и уверена, что ради моего дорогого покойного мужа Вы мне не откажете.

Всегда искренне Ваша,

Эми Дриффилд.

Я встречался с миссис Дриффилд лишь однажды, и она не вызвала у меня особого интереса. Я не люблю, когда ко мне обращаются «дорогой друг» – одного этого было бы достаточно, чтобы я не принял ее приглашения. Кроме того, меня вообще возмутил самый тон письма: оно было написано так, что какой бы повод для отказа я ни изобрел, все равно было бы совершенно очевидно, что я просто не пожелал приехать. Писем от Дриффила у меня не было. Кажется, много лет назад я несколько раз получал от него коротенькие записки, но тогда он был еще никому не известен, и даже если бы я имел привычку хранить письма, мне никогда не пришлось бы в голову сохранить эти. Откуда я мог знать, что его провозгласят величайшим романистом нашего времени? Я заколебался только потому, что, по словам миссис Дриффила, она хотела о чем-то меня попросить. Это наверняка будет что-нибудь нудное, но отказать было бы невежливо и, в конце концов, ее муж был человек весьма достойный.

Письмо пришло рано утром, и после завтрака я позвонил Рою. Как только его секретарь услышал мое имя, он соединил нас. Если бы я писал детективный рассказ, то немедленно заподозрил бы, что моего звонка ждали, и мои подозрения подтвердил бы бодрый и мужественный голос Роя. Это неестественно, чтобы человек в столь ранний час проявлял такую жизнерадостность.

– Надеюсь, я не разбудил вас? – сказал я.

– Конечно же, нет! – Он залился здоровым смехом. – Я на ногах с семи часов. Катался верхом в парке, а теперь как раз собираюсь завтракать. Приезжайте – позавтракаем вместе.

– Я очень люблю вас, Рой, – ответил я, – но вы – не тот человек, завтрак с которым мне доставил бы удовольствие. Кроме того, я уже завтракал. Послушайте, я только что получил письмо от миссис Дриффила с просьбой приехать к ней в гости.

– Да, она говорила мне, что собирается вас пригласить. Мы можем поехать вместе. У нее вполне приличный корт, и принимает она очень хорошо. Думаю, вам понравится.

– А чего ей от меня нужно?

– Ну, вероятно, она хотела бы сказать вам это сама.

Голос Роя сделался настолько сладким, что мне пришлось в голову: именно так он объявил бы будущему отцу семейства о том, что его жена намерена вскорости исполнить его заветное желание. Но на меня это не подействовало.

– Бросьте, Рой, – сказал я. – Старого воробья на мякине не проведешь. Выкладывайте.

Наступила секундная пауза. Я почувствовал, что Рою мой тон не понравился.

– Вы заняты сегодня утром? – спросил он вдруг. – Я хотел бы к вам заехать.

– Хорошо, приезжайте. Я буду дома до двух.

– Я приеду через час.

Я повесил трубку, закурил и еще раз просмотрел письмо от миссис Дриффилд.

Тот обед, о котором она писала, я прекрасно помнил. Как-то я несколько дней отдыхал недалеко от Теркенбери у некой леди Ходмарш – неглупой и хорошенькой американки, жены одного баронета, совершенно лишённого интеллекта, но обладавшего очаровательными манерами. Вероятно, чтобы скрасить монотонность семейной жизни, она часто принимала у себя людей, имевших отношение к искусству, собирая разнообразную и оживленную компанию. Представители знати и дворянства с изумлением и некоторой робостью встречались у нее с художниками, писателями и актерами. Леди Ходмарш не читала книг и не видела картин, написанных людьми, которым оказывала гостеприимство, но ей нравилось их общество, и она любила чувствовать свою причастность к миру искусства. Однажды разговор у нее коснулся Эдуарда Дриффилда – самого знаменитого из ее соседей. Я заметил, что когда-то очень хорошо его знал, и она предложила в понедельник, когда большинство гостей возвратится в Лондон, съездить к нему пообедать. Я заколебался: Дриффилда я не видел уже тридцать пять лет и не мог предположить, чтобы он меня вспомнил, а если и вспомнил бы (впрочем, об этом я умолчал), то, по всей вероятности, без особой радости. Но при этом случился один молодой пэр – некий лорд Скэллион, который проявлял такой бурный интерес к литературе, что, вместо того чтобы править Англией в соответствии со всеми законами Божескими и человеческими, тратил всю свою энергию на сочинение детективных романов. Он выразил сильнейшее желание повидать Дриффилда и, как только леди Ходмарш высказала свое предложение, заявил, что это было бы восхитительно. Самой главной гостьей была одна толстая молодая герцогиня, чье преклонение перед знаменитым писателем оказалось настолько сильным, что она была готова отменить назначенные в Лондоне дела и остаться здесь до самого вечера.

– Вот нас уже четверо, – сказала леди Ходмарш. – Думаю, больше они принять и не смогут. Я сейчас же отправлю телеграмму миссис Дриффилд.

Мне ничуть не улыбалось явиться к Дриффилду в этой компании, и я попытался охладить их пыл.

– Мы надоедим ему до смерти, – сказал я. – Он терпеть не может, когда на него сваливается такая толпа незнакомых людей. Он же очень стар.

– Именно поэтому, если они хотят повидать его, пусть сделают это сейчас. Долго он не протянет. А миссис Дриффилд говорит, что он любит общество. У них бывают только доктор и священник, и наш визит будет для него все-таки развлечением. Миссис Дриффилд говорила, что я всегда могу привозить каких-нибудь интересных людей. Конечно, ей приходится быть очень осторожной: к нему навязываются всякие люди, которые мечтают на него поглазеть, и интервьюеры, и авторы, которые хотят, чтобы он прочел их книги, и глупые восторженные женщины. Но миссис Дриффилд просто удивительна. Она к нему никого не пускает, кроме тех, кого посчитает сама, ему нужно повидать. То есть он бы не выдержал и недели, если бы принимал каждого, кто хочет с ним встретиться. Ей приходится беречь его силы. Но к нам, конечно, все это не относится.

Ко мне-то, подумал я, это и в самом деле не относится; но, поглядев на герцогиню и на лорда Скэллиона, я заметил, что про себя они тоже так думают, и решил промолчать.

Мы поехали в светло-желтом «роллс-ройсе». Ферн-Корт находился примерно в трех милях от Блэкстебла. Это был оштукатуренный дом, построенный, вероятно, около тысяча восемьсот сорокового года, некрасивый и без всяких претензий, но основательный. И спереди и сзади по обе стороны двери выступали вперед два широких эркера, и еще два таких же были на втором этаже. Низкую крышу скрывал простой парапет. Дом был окружен садом, занимав-

шим около акра, где деревья стояли, пожалуй, слишком часто, но выглядели хорошо ухоженными, а из окна гостиной открывался красивый вид на леса и зеленую низину. Гостиная была обставлена в точности так, как полагается обставлять гостиную в скромном загородном доме, и от этого почему-то становилось немного не по себе. На удобных креслах и большом диване были чистые чехлы из яркого ситца, и занавеси из того же ситца висели на окнах. На маленьких чиппендейловских столиках стояли большие восточные вазы с душистыми сухими лепестками. На кремовых стенах висели красивые акварели работы художников, пользовавшихся популярностью в начале столетия. Повсюду были изящно расположенные цветы, а на рояле стояли в серебряных рамках фотографии знаменитых актрис, покойных писателей и младших представителей царствующего дома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.